

18+

СВЕТОЗАР ЛУННАЯ ДОРОГА ВЕДУНОВ



ПУТЬ К ГЛАВНОМУ ЗАГОВОРУ ЯСНОГО ВЗГЛЯДА
ЕВГЕНИЙ СЛОГОДСКИЙ

Евгений Слогодский

**Светозар. Лунная дорога
ведунов. Путь к главному
заговору ясного взгляда**

«Издательские решения»

Слогодский Е.

Светозар. Лунная дорога ведунов. Путь к главному заговору ясного взгляда / Е. Слогодский — «Издательские решения»,

«Светозар. Лунная дорога ведунов» — мистический роман-посвящение, подобных которому в современной литературе ещё не выходило. В книге соединены глубинные заговорные традиции Урала и Сибири, родовая память, страх, зрение и путь внутреннего преображения человека. Через Врата, Виев и древние практики герой проходит дорогу к ясному взгляду — не только глаз, но и души. Это книга о свете, который человек учится не терять перед тьмой.

© Слогодский Е.

© Издательские решения

Содержание

Введение	6
Тайна сказок, которую мы перестали слышать	6
Что такое Калинов мост?	7
А что такое река Смородина?	8
А кто такой Вий?	9
Зрение — это не только работа глаза	10
И если читатель готов идти дальше, ему придётся помнить главное	12
Часть I. Родовой ключ	13
Глава 1. Бабка Каля	14
Глава 2. Плащ этнографа	25
Глава 3. Первый след лунной дороги	46
Глава 4. Слово, которое нельзя украсть	62
Часть II. Карта помрачений	72
Глава 5. Когда страх держит веки	73
Глава 6. Малые Вии	85
Часть III. Врата ясного взгляда	99
Глава 7. Врата росы	100
Конец ознакомительного фрагмента.	101

Светозар. Лунная дорога ведунов Путь к главному заговору ясного взгляда

Евгений Слогодский

© Евгений Слогодский, 2026

ISBN 978-5-0070-0779-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Введение

Тайна сказок, которую мы перестали слышать

Русские сказки слишком долго считали детским чтением.

Их пересказывали перед сном, украшали картинками, сокращали для школьных хрестоматий, превращали в добрые истории о храбрых богатырях, злых чудовищах, Бабе-Яге, Кощее, Сером Волке и чудесных помощниках. Но чем больше сказка становилась «детской», тем сильнее из неё вынимали главное.

Сказка — не развлечение.

Сказка — это зашифрованная карта древнего знания.

В ней спрятаны представления народа о жизни, смерти, страхе, болезни, зрении, судьбе, переходе, испытании, посвящении и внутреннем преображении человека. Русская сказка не просто рассказывает, как герой ушёл за тридевять земель. Она показывает, что происходит с человеком, когда он выходит за пределы привычного мира и сталкивается с тем, от чего всю жизнь пытался отвернуться.

Есть в русской традиции несколько образов, которые будто стоят на самом краю человеческого понимания.

Калинов мост.

Река Смородина.

Вий.

Врата.

Тьма.

Свет.

Заговорное слово.

Мы привыкли слышать эти имена, но почти перестали спрашивать: что они означают на самом деле?

Что такое Калинов мост?

Неужели это просто сказочный мост через огненную реку, где богатырь сражается со змеем? Или в этом образе скрыто нечто большее?

Слово «калинов» зовёт не только к красной ягоде калины. Оно ведёт глубже: к калению, закалке, испытанию огнём, внутреннему накалу, через который человек перестаёт быть прежним. Калинов мост — это не просто переправа. Это место перехода через страх. Место, где человек проверяется на прочность. Место, где прежнее «я» уже не может идти дальше, а новое ещё не родилось.

На Калиновом мосту человек не просто сражается с чудовищем.

Он встречает то, что держит его изнутри.

А что такое река Смородина?

В сказках она часто огненная, страшная, пограничная. Через неё нельзя перейти просто так. Она отделяет один мир от другого. Но если прислушаться к самому имени, оно начинает раскрываться иначе: **Смородина** — это не только растение и не только фольклорный топоним. В этом слове слышится глубокий древний разлом: **мор** и **род**.

Мор — смерть, гибель, исчезновение.

Род — жизнь, кровь, продолжение, память, рождение.

Смородина — это река между мором и родом.

Река, где смерть и жизнь текут в одном русле. Река перехода. Река, у которой человек должен решить: он идёт к угасанию или к продолжению? Он отдаёт себя страху или проходит через него? Он остаётся на старом берегу или принимает новую форму жизни?

А кто такой Вий?

Его привыкли связывать с гоголевским образом — страшным существом с тяжёлыми веками, которому поднимают глаза, и от его взгляда нельзя скрыться. Но в глубине этого образа спрятана куда более древняя и страшная идея.

Вий — это Видящий.

Тот, кто видит сквозь веки.

Тот, кто видит сквозь страх.

Тот, кто видит то, что человек прячет даже от самого себя.

Вий не обязательно приходит снаружи. Он может жить внутри человека. Он держит веки изнутри, когда человек не хочет видеть правду. Когда он боится будущего. Боится горя. Боится старости. Боится болезни. Боится чужого взгляда. Боится темноты. Боится смерти.

И тогда человек смотрит, но не видит.

Глаз открыт, а свет не входит.

Вот здесь начинается главная тема этой книги.

Зрение — это не только работа глаза

Зрение — это отношение человека к миру. Это связь глаза, мозга, тела, памяти, страха, рода и внутренней силы. Человек может иметь открытые глаза и при этом жить под властью внутреннего мрака. А может пройти через страх и снова начать видеть ясно, глубоко, живо.

Русская заговорная традиция знала это.

В старых наговорах на воду, на росу, на печную золу, на зеркало, на утренний свет, на дорогу, на сон, на испуг сохранились следы особого знания: страх может затемнять взгляд, а слово, действие, ритуал и внутренняя решимость могут помочь человеку вернуть свет.

Эта книга родилась на пересечении нескольких дорог.

Это художественное повествование.

Это этнографическое исследование.

Это родовая память.

Это попытка заново прочитать русские сказочные образы как карту внутреннего зрения.

Это путь к главному заговору ясного взгляда — Светозару.

В этой книге я рассматриваю русские сказки, заговоры и обрядовые сюжеты не как мёртвые фольклорные памятники, а как живую систему смыслов. Здесь Калинов мост становится образом внутреннего испытания. Смородина — рекой между смертью и продолжением жизни. Вий — стражем страха, который нужно не убить, а распознать и преобразовать. А Светозар — не просто словом, а состоянием ясного взгляда, в котором человек перестаёт отдавать тьме власть над собой.

Насколько мне известно, именно в таком соединении — зрения, страха, русских сказочных образов, заговорной практики, Вия как внутреннего стража и Светозара как пути к просветлению взгляда — эта тема прежде не раскрывалась.

Обычно сказку изучали как фольклорный текст.

Обычно заговор рассматривали как магическую формулу.

Обычно Вия воспринимали как литературного персонажа.

Обычно Калинов мост и Смородину относили к мифологическим границам между мирами.

Но здесь они собраны в единую систему.

Систему Врат.

Каждые Врата в этой книге связаны с определённым страхом. У каждого страха есть свой Вий. И каждый Вий держит человека по-своему: один не даёт принять утро, другой мутит взгляд после горя, третий заставляет бояться зеркала, четвёртый прячет даль, пятый сгущает ночь, шестой превращает чужой взгляд в приговор, седьмой заставляет стареть раньше времени, восьмой ставит человека перед тёмной водой Смородины.

Но Вий — не враг.

Это одна из главных мыслей книги.

Вия нельзя просто победить, убить, прогнать. Страх, изгнанный силой, часто возвращается в другой форме. Вия нужно увидеть. Назвать. Выдержать. Превратить из хозяина в стража. Тогда он перестаёт держать веки и становится силой перехода.

Так раскрывается древний смысл посвящения.

Герой сказки не становится сильным потому, что уничтожил чудовище. Он становится сильным потому, что прошёл через то, чего боялся. Он пересёк Калинов мост. Он выдержал Смородину. Он встретил Вия. Он не закрыл глаза.

Эта книга построена как лунная дорога.

Не солнечная, прямая, объяснённая заранее. А именно лунная: таинственная, ночная, отражённая, идущая через намёки, сны, случайные встречи, старые слова, деревенские избы, печи, родники, бани, зеркала, кладбищенские рябины, мосты, тёмную воду и первый свет.

Внешне это путь этнографа, который собирает сказки, заговоры, наговоры, обряды и свидетельства старых хранителей.

Но глубже это путь человека, который возвращается к собственной родовой передаче.

К бабе Кале.

К ржавому ключу.

К первому прикосновению к векам.

К словам: **«Смотри не глазами одними. Смотри родом».**

Перед читателем не справочник и не сборник рецептов.

Это роман-посвящение.

В нём нельзя просто открыть последнюю страницу и «взять» Светозар. Главный заговор не добывается как вещь. Он не лежит в конце книги, будто монета в сундуке. К нему нужно пройти. Потому что Светозар — это не только слово. Это состояние человека, который встретил свои страхи, прошёл своих Виев и перестал склоняться перед внутренней тьмой.

Русские сказки никогда не были простыми.

Простыми их сделали мы, когда перестали слышать их глубину.

Эта книга — попытка вернуть сказке её страшную, светлую и исцеляющую силу.

Попытка снова увидеть, что за образами древней традиции скрыта карта человеческого преображения.

**И если читатель готов идти дальше,
ему придётся помнить главное**

Калинов мост — не где-то там.
Смородина — не только в сказке.
Вий — не только в старой повести.
Светозар — не только в заговоре.
Всё это есть внутри человека.
И однажды каждый подходит к своему мосту.
Каждый слышит под ним тёмную воду.
Каждый чувствует, как Вий поднимает веки.
И тогда остаётся только одно:
не закрыть глаза.

Часть I. Родовой ключ

Не всякий ключ открывает дверь.

Некоторые открывают память.

Эта часть начинается не с дороги, а с крови.

Не с карты, не с плана, не с желания написать книгу. Настоящая дорога начинается раньше, чем человек решает идти. Она начинается в детстве: у печи, у окна, у чашки с водой, у старой женской руки, которая касается век и говорит не объяснение, а передачу.

Бабка Кали была не просто прабабкой. Она была тем корнем, который не просит доказательств. В её молчании было больше знания, чем в толстых книгах; в её взгляде было больше дороги, чем в любой карте. Она не учила прямо. Она ставила рядом. Давала держать воду. Давала слушать чужую боль. Давала видеть, как слово входит в человека не через бумагу, а через дыхание, страх, прикосновение и веру.

Автор ещё не знает, что стал помощником. Ещё не знает, что ржавый ключ однажды откроет не замок, а память. Ещё не знает, что плащ этнографа будет только внешней одеждой, а под ним проснётся наследник ведовской линии.

В этой части закладывается главный закон всей книги: заговор нельзя украсть. Его нельзя просто списать, выучить, произнести и считать своим. Живое слово требует живой передачи. И тот, кто хочет дойти до Светозара, должен сначала понять, откуда он идёт.

Родовой ключ ещё молчит.

Но в его ржавчине уже спит дорога.

Глава 1. Бабка Каля

Я не сразу понял, что моя первая дорога к Светозару началась не тогда, когда я, уже взрослым человеком, сел за стол, разложил старые записи, открыл полевой блокнот и решил идти по деревням как собиратель фольклора.

Нет.

Она началась гораздо раньше.

Не в кабинете, не среди папок, не среди карт и выцветших названий исчезающих деревень, а в сибирской зиме, где ребёнок ещё не умеет отделять простое от тайного и потому иногда видит больше взрослого. Она началась в Новосибирской области, в Сузунском районе, в деревне Бедришка — в той родовой деревне, где снег зимой ложился так глубоко, что заборы торчали из него, как чёрные рёбра старого зверя, а крыши домов казались не крышами, а спинами больших спящих животных, занесённых белым дыханием земли.

Бедришка жила не по городскому времени. Там время не бежало, не делилось на расписания, не тикало нервно в настенных часах. Оно стояло в печах, лежало на полатах, скрипело в половицах, темнело в колодцах, шуршало в сухих травах под потолком. Утром оно поднималось вместе с дымом из труб, днём ходило по дворам с хрустом валенок, к вечеру пряталось в сени, в подполье, в углы, где пахло старой кожей, яблоками, землёй и тем, что ребёнок чувствует раньше, чем умеет назвать.

Зимой в Бедришке была такая тишина, что любой звук становился почти видимым. Скрип снега под ногами казался белым. Треск полена в печи — красным. Лай собаки — коротким, чёрным, обрывающимся в морозном воздухе, будто собака берегла дыхание. Луна над деревней стояла большая, холодная, и её свет ложился на дорогу так ровно, словно кто-то заранее проложил через ночь светлую полосу, по которой однажды должен пройти человек, ещё не знающий, что он идёт.

В той деревне жила моя прабабка.

Клавдия Ивановна.

Но в доме её называли иначе.

Бабка Каля.

Не ласково даже. Скорее точно. Так называют не просто человека, а силу, если сила давно живёт рядом и уже стала частью быта. Никто не говорил это имя торжественно. Его произносили между делом: «Спроси у бабки Кали», «Бабка Каля велела», «К бабке Кале сходи», «С бабкой Калей не спорь». И в этих простых словах было больше признания, чем в любом уважительном титуле.

Она была невысокая, сухая, с тёмными глазами, которые не старели. Лицо её было всё в мелких морщинах, но морщины эти не делали её слабой. Наоборот, казалось, каждая морщина была дорогой, по которой она когда-то прошла и вернулась. У одних старость стирает лицо, у других — проявляет его, как проявляют фотографию в тёмной комнате. У бабки Кали старость ничего не стёрла. Она только убрала лишнее. Оставила глаза, руки, голос и ту странную неподвижность, которая бывает у людей, давно переставших суесться перед тем, что нельзя изменить.

Руки у неё были жёсткие, узловатые, с тёмными пятнами, с тонкими трещинками на костяшках, с ногтями, коротко обрезанными и всегда чуть потемневшими от работы. Эти руки пахли по-разному. Утром — печной золой и хлебом. Днём — травами, мокрым полотном, картофельной землёй. Вечером — холодной водой из колодца, дымом, старым деревом. Иногда от её платка тянуло полыньё так резко, что я морщился; иногда она проходила мимо, и вместе с ней шёл запах высушенного лета, спрятанного на зиму под потолок.

Она редко объясняла.

Объяснять любили учителя в школе, начальники, врачи, городские люди, приезжавшие в деревню с бумагами, печатями, рекомендациями и уверенным голосом. Бабка Каля не объясняла. Она показывала. Заставляла делать, молчать, смотреть, слушать, стоять там, где велено, и не мешать тому, что происходит. Она могла весь день почти не говорить, а потом одной фразой поставить человека на место — не унижить, не пристыдить, а именно поставить: как ставят криво стоящую вещь ровнее.

Если кто-то спрашивал слишком много, она могла сказать:

— *Язык у тебя быстрее глаза. Так не увидишь.*

Тогда я не понимал, почему она так часто говорила про глаз. Не про зрение даже, а именно про глаз.

«Глаз тяжёлый».

«Глаз пустой».

«Глаз чужой».

«Глаз не принял».

«Глаз испугался».

«Глаз свет потерял».

«Глаз слово ест».

Мне казалось, это деревенские выражения, такие же, как «мороз кусается» или «печка сердится». Ребёнок легко принимает мир, где мороз может кусаться, печь сердиться, вода поминуть, а ключ ждать своего времени. Только позже я понял: для бабки Кали глаз был не просто органом. Глаз был воротами. Через него человек принимал мир или отказывался от него. Через него в человека входил свет, страх, память, чужое слово, радость, смерть. Через глаз человек не только видел, но и соглашался жить.

И если глаз закрывался, не всегда виноват был глаз.

Иногда его держал страх.

Тогда я этого ещё не знал.

В тот вечер за окном стояла такая зима, что даже собаки лаяли коротко, будто берегли дыхание. Небо было низкое, синее, каменное. Мороз давил на стёкла, и от каждого прикосновения к оконной раме пальцы прилипали к дереву. В избе топились печи. В красном углу темнели иконы, не яркие, не нарядные, а старые, почти слившиеся с тенью. Под лавкой скреблась мышь. На печи лежал серый кот Барсик, огромный, ленивый, но с таким внимательным взглядом, будто он тоже состоял в какой-то старой службе.

Я сидел на лавке и ковырял ногтем трещину в столе. Стол был толстый, тёмный, с зарубками, пятнами, следами ножа, горячих чашек, пролитого чая и того ежедневного деревенского труда, который не оставляет вещи гладкими. На столе лежала чёрная редька, рядом нож с деревянной ручкой, чашка с водой и белое полотенце, свёрнутое в тугой валик. От редьки тянуло резким, горьким запахом, который щипал нос и почему-то заставлял думать о земле под снегом. Из подпола шёл холод и пахло яблоками, землёй и чем-то кислым, погребным.

Бабка Каля не смотрела на меня. Она перебирала сухие травы. Делала это медленно, почти беззвучно, отделяя стебли от листьев, листья от мелкой трухи, словно в каждой пучке было не растение, а записанная кем-то просьба. Иногда она подносила траву к лицу, вдыхала и откладывала в одну сторону. Иногда ломала стебель ногтем и прислушивалась к сухому щелчку.

Потом сказала:

— *Сегодня пойдёшь со мной.*

Я поднял голову.

— *Куда?*

— *Увидишь.*

— *Зачем?*

Она подняла глаза.

Я сразу замолчал.

Не потому что испугался. Хотя, может быть, и потому. Когда бабка Каля смотрела, внутри у человека будто прекращалась вся лишняя суета. Даже мысли становились тише. Взрослые могли спорить друг с другом, говорить громко, ругаться, доказывать, а под её взглядом вдруг вспоминали, что язык — не самое главное место в человеке.

— *Не всё спрашивают до дороги, — сказала она. — Некоторые вещи узнают ногами.*

Она завязала платок, накинула старую шаль, взяла чашку с водой и полотенце. Потом, подумав, сняла с гвоздя маленький ключ. Он висел рядом с печью, на потемневшем деревянном гвоздике, и я много раз видел его, но никогда не замечал по-настоящему. Ключ был тёмный, ржавый, кривоватый, с круглой головкой и неровной бородкой. Мне он казался бесполезным: ни одного замка в доме он, кажется, не открывал. У нас были другие ключи — от сундука, от кладовки, от сарая. А этот висел просто так, как старая ненужная вещь.

Бабка сунула его мне в ладонь.

— *Держи.*

Ключ был холодный. Так холоден, будто висел не в избе, а на улице, под самой луной. Я сжал его, но он не согревался.

— *Он что открывает? — спросил я.*

— *Когда заржавеет окончательно, тогда и узнаешь.*

Я посмотрел на ключ. Он уже был ржавый. Ржавчина сидела на нём пятнами, крошилась по краям, темнела в углублениях.

— *Так он уже заржавел.*

Бабка чуть усмехнулась одними глазами.

— *Не для тебя ещё.*

Мы вышли.

Сени встретили нас темнотой и запахом валенок, старой овчины, сушёной рыбы, дымной одежды. На стене висели полушубки, мешки, верёвки, какие-то железки, назначение которых я не знал. Дверь на улицу открылась с тугим скрипом. Мороз сразу вошёл в лицо, в рукава, под воротник. Он не просто холодил — он будто проверял, живой ли ты, дышишь ли, готов ли выйти из печного тепла в ночь.

Снег под ногами скрипел так громко, будто деревня была пустой, а этот скрип — единственный живой звук в мире. Из труб шёл дым, почти прямой в морозном воздухе. Где-то за дворами кашляла корова. В окне соседнего дома дрожал слабый жёлтый огонёк. Луна стояла над улицей белая, холодная, и дорога под ней казалась не дорогой, а светлой полосой, проложенной кем-то заранее.

Я шёл рядом с бабкой Калей и держал ключ в рукавице. Он всё равно холодил ладонь. Иногда я перекладывал его из пальцев в середину ладони, иногда сжимал крепче, думая, что согрею. Но холод оставался ровным и упрямым, как будто ключ не брал тепло у живого тела.

— *Баб, — сказал я тихо, — а зачем ключ?*

— *Порог держать.*

— *Как это?*

— *Молча.*

Ответы у неё часто были такие: вроде сказала, а понять нельзя. Но почему-то после её ответов не хотелось спрашивать сразу ещё раз. Казалось, если спросишь слишком быстро, испортишь то, что тебе ещё не успели показать.

Мы подошли к крайней избе. Забор у неё был низкий, покосившийся. У калитки торчали сухие стебли крапивы. Зимой она уже не жгла, но всё равно выглядела злой, будто помнила лето и не собиралась прощать тому, кто ходил мимо неосторожно. На крыльце стояло ведро,

к нему намертво примёрзла деревянная ручка. У стены лежали поленья, присыпанные снегом. Из трубы шёл дым, но неровно, то гуще, то тоньше, будто в доме кто-то дышал тревожно.

Бабка Каля не постучала громко. Только провела костяшками по двери — три раза, негромко, но так, что внутри сразу зашевелились. В сенях пахло мокрой шерстью, старым луком, дымом и испугом. Тогда я ещё не знал, что у испуга тоже есть запах. Теперь знаю: он пахнет холодным потом, тесной одеждой, несказанными словами и воздухом, который долго не открывали.

Дверь в избу открыла женщина.

Она была молодая, но лицо у неё казалось старым от страха. Глаза красные, веки опухшие, волосы выбились из-под платка. Она смотрела не на бабку Калю, а куда-то мимо неё, будто боялась встретиться с чьим-нибудь взглядом. Плечи были подняты, пальцы цеплялись за край кофты, губы дрожали. Она стояла на пороге так, словно не открывала дверь, а держалась за неё, чтобы не упасть.

— *Пришла, Клавдия Ивановна, — сказала она, и голос у неё сорвался почти на шёпот.*

— *Вижу, что пришла, — ответила бабка Каля. — А ты зачем глаза прячешь?*

Женщина всхлипнула.

— *Не могу. Темно. Всё как в дыму. С утра встала, а оно... будто свет погас. Врач говорил, глаз целый. А я всё равно как сквозь тряпку смотрю.*

Бабка Каля вошла в избу, не разуваясь. Мне кивнула:

— *За мной.*

Внутри было жарко. Печь топилась сильно, но тепло не радовало. Оно стояло тяжёлое, тревожное, как в комнате, где давно плакали и забыли открыть дверь. На лавке сидела старуха, наверное мать этой женщины, и перебирала край фартука. Её пальцы двигались бесконечно, мелко, как будто она пыталась распутать невидимый узел. В углу лежал ребёнок, укрытый тулупом. Он спал или притворялся спящим; только ресницы иногда дрожали. На столе стояла лампа. Пламя её дрожало, хотя сквозняка не было.

— *Когда испугалась? — спросила бабка Каля.*

Женщина молчала.

Бабка положила полотенце на стол, поставила чашку с водой рядом с лампой и повторила:

— *Я не про глаза спрашиваю. Когда испугалась?*

Женщина закрыла лицо руками. Пальцы её были красные, обветренные, ногти короткие, у одного ногтя тёмная полоска. Сквозь пальцы она сказала:

— *Ночью. Мужа с леса не дождалась. Сказали, волки рядом ходили. Лесники говорили, видели следы. А он ушёл дрова смотреть, да задержался. Я ждала, ждала... Сначала у окна стояла. Потом к двери выходила. Потом опять к окну. Слышу — собаки где-то лают, ветер по трубе, будто кто-то воет. Я уже видела, как его несут. Уже видела, как дверь откроется, а за дверью люди. Уже видела себя одну. Ребёнка без отца. Дом пустой. Потом пришёл он, живой, весь в снегу, ругается, что я плачу. А я пока ждала... будто что-то внутри оборвалось. С тех пор всё мутно.*

Бабка Каля кивнула.

— *Не волки тебя тронули. Ожидание тронуло. Страх на очи сел.*

Старуха на лавке перекрестилась.

— *Может, сглаз? — прошептала она.*

— *Хуже, — сказала бабка Каля. — Свой страх. Чужой сглаз снять легче.*

Я тогда впервые услышал это выражение: страх на очи сел.

Не болезнь.

Не порча.

Не сглаз.

Страх.

И это было страшнее, чем если бы речь шла о чужой порче. Потому что чужое всегда можно представить как что-то пришедшее снаружи, чужой глаз, чужое слово, чужую зависть. А свой страх сидит ближе. Он знает, где слабое место. Он говорит твоим голосом. Он поднимается изнутри и потому кажется правдой.

Бабка Каля поставила чашку с водой на стол. Вода была простая, из нашего дома. Но в чужой избе она показалась мне тёмной, глубокой, будто в ней отражалось не пламя лампы, а вся эта ночь за окном: лес, волки, ожидание, женский страх, снежная дорога, по которой муж мог не вернуться.

— Ты, — бабка кивнула женщине, — садись напротив печи. Глаза не закрывай.

— Я боюсь.

— Вот потому и не закрывай.

Потом она повернулась ко мне.

— А ты встань у порога.

Я послушался.

— Ключ в левую руку. Под порог не клади. Пока рано. Держи. Если она глаза закроет, скажешь: «Смотри». Только одно слово. Больше ничего.

— А если я забуду?

Бабка Каля посмотрела на меня так, что я сразу понял: лучше не забывать.

— Не забудеешь.

Я встал у двери. За спиной тянуло холодом из сеней. Слева было тепло избы, справа — тёмная щель за дверью, где пахло мокрой шерстью и морозом. В ладони лежал ключ. Женщина села у печи, руки на коленях, пальцы дрожат. Бабка Каля развернула полотенце, окунула край в воду, отжала. Вода закапала обратно в чашку: раз, другой, третий. Каждая капля звучала отчётливо, будто в избе стало больше тишины.

Потом бабка медленно провела влажным полотном по векам женщины, не закрывая ей глаз.

— Не жмурься, — сказала она.

— Больно светит.

— Не свет болит. Страх болит.

Кот, который лежал на печи, вдруг поднял голову. Лампа на столе дрогнула сильнее. Старуха на лавке перестала шевелить фартуком. Ребёнок под тулупом будто тоже перестал дышать. В избе стало тихо так, что я услышал, как за стеной потрескивает мороз в брёвнах.

Бабка Каля наклонилась к чашке и начала шептать.

Слова я тогда не разобрал. Не потому что она говорила слишком тихо, а потому что шёпот был как вода подо льдом: слышно движение, а слов не поймать. Иногда проскальзывали отдельные куски:

— ...не тьме держать...

— ...не страху стоять...

— ...свет в очи...

— ...род за спиной...

— ...живой глядит, живой стоит...

Женщина начала закрывать глаза.

Я почувствовал, как ключ в руке стал будто тяжелее.

— Смотри, — сказал я.

Голос мой прозвучал неожиданно твёрдо. Я сам удивился. Женщина вздрогнула и открыла глаза. В них было столько страха, что мне самому захотелось отвернуться. Страх иногда просит не помощи, а соучастия: отвернись вместе со мной, не заставляй меня видеть. Но бабка Каля не отвернулась. Она смотрела на женщину спокойно, почти строго.

— Вот он, — сказала бабка.

— *Кто? — прошептала женщина.*

— *Тот, кто веки держит.*

Мне показалось, что в углу, возле печной заслонки, тень стала гуще. Не человек, не зверь, не что-то с руками и лицом. Просто темнота собралась плотнее, чем должна была. Пламя лампы дрожало, а тень не дрожала. Я хотел спросить, но горло сжалось.

Бабка Каля сказала, не оборачиваясь:

— *Не бойся. Это малый Вий. Первый сторож. Он не ест. Он смотрит.*

Слово «Вий» я знал тогда только как страшное. Из рассказов, из чужих пересказов, из детского ужаса, где кому-то поднимают веки и он видит такое, от чего можно умереть. Но бабка Каля произнесла это слово иначе. Не как имя чудовища, а как должность.

Сторож.

Видящий.

Тот, кто смотрит туда, куда человек сам смотреть боится.

И в тот миг Вий перестал быть только сказкой. Он не вышел из угла, не зашевелился, не показал лица. Он проявился в теле женщины: в зажатых плечах, в дрожащих пальцах, в мокрых ресницах, в том, как она хотела спрятаться от собственного воспоминания. Вий сидел не в углу. Угол только показывал, где его тень. Настоящий Вий держал её взгляд изнутри.

Женщина заплакала.

— *Я не хочу видеть, — сказала она. — Я тогда думала, что он мёртвый. Я уже видела, как его несут. Я видела, как одна остаюсь. Я видела...*

— *Вот и муть, — сказала бабка Каля. — Ты не глаза потеряла. Ты увидела страх и согласилась с ним.*

Женщина зажмурилась.

Ключ в моей ладони стал ледяным.

— *Смотри, — сказал я снова.*

Она открыла глаза.

Бабка Каля взяла чашку с водой, поднесла к её лицу.

— *В воду смотри. Не в страх. Воду страх не держит.*

Женщина посмотрела в чашку. Сначала так, будто смотрит в яму. Потом дыхание её чуть изменилось. Плечи дрогнули. Вода в чашке отражала лампу, печь, бабкину руку, и, может быть, что-то ещё — не образ, а возможность смотреть не прямо в страшное, а через живую поверхность, которая принимает и не удерживает.

Бабка Каля стала читать громче. Теперь я различил слова:

*Как ночь не держит зарю,
как дым не держит огня,
как вода не держит камня,
так и страх не держи глаза.*

*Свету идти,
тьме отступить,
глазу принять,
сердцу не мреть.*

*Кто живой — глядит.
Кто глядит — стоит.
Кто стоит — свет держит.*

Последние слова она произнесла почти беззвучно. Но от них будто изменилась изба. Не сильно, не чудесно, не так, как в сказках, где всё сразу сияет. Просто воздух стал легче. Женщина выдохнула — длинно, рвано, как человек, который долго держал что-то внутри и наконец отпустил.

Бабка Каля приложила мокрое полотенце к её векам.

— *Теперь закрой.*

Женщина закрыла глаза.

— *Теперь открой.*

Она открыла.

— *Что видишь?*

Женщина молчала. Потом повернула голову к лампе.

— *Огонёк... ровнее.*

Старуха на лавке вскрикнула:

— *Матерь Божья...*

— *Тихо, — сказала бабка Каля. — Не вступни.*

Женщина смотрела на лампу. Потом на ребёнка под тулупом. Потом на свои руки. Она не улыбалась, не радовалась громко. В её лице было изумление человека, которому не вернули весь мир сразу, но дали в нём одну щель света.

— *Не так мутно, — сказала она. — Всё ещё мутно, но... не так.*

Бабка Каля кивнула.

— *Так и надо. Сразу всё только дурь хочет. Живое возвращается по шагу.*

Она взяла чашку и дала женщине сделать три маленьких глотка. Женщина пила осторожно, будто вода была не водой, а словом, которое нужно принять внутрь.

— *Три дня не говори: «Я слепну». Слышишь?*

Женщина кивнула.

— *Не говори: «тьма». Не говори: «не вижу». Глаз слово ест. Чем кормишь, тем и смотри. Утром умывайся холодной водой. Вечером смотри на огонёк и говори: «Я здесь». Не громко. Для себя. А если опять придёт тот образ, где его несут, не гони его криком. Скажи: «Это было во мне, а он пришёл живой». Поняла?*

Женщина снова кивнула. На этот раз не как испуганная, а как человек, которому дали работу, и он хотя бы на мгновение понял, за что держаться.

Потом бабка Каля повернулась ко мне.

— *Ключ.*

Я подошёл и протянул ей ключ. Она не взяла. Своей рукой накрыла мою ладонь поверх ключа и сжала.

— *Запомнил?*

— *Что?*

— *Как страх веки держит.*

Я кивнул, хотя не был уверен, что понял.

— *Не понял ещё, — сказала она. — Но запомнил.*

Она взяла мою руку и приложила холодный ключ к моим векам. Сначала к правому, потом к левому. Металл был такой холодный, что у меня по спине побежали мурашки.

— *Смотри не глазами одними, — сказала бабка Каля. — Смотри родом.*

Я молчал.

— *Глаз один слабый. Род за спиной крепче.*

Потом она наклонилась ко мне так близко, что я почувствовал запах полыни от её платка.

— *И помни: Вия не бьют. Его выдерживают.*

Тогда я ничего не ответил. Но внутри у меня что-то встало тихо и прямо. Будто я не просто услышал фразу, а получил тяжёлую маленькую вещь, которую теперь придётся носить.

В детстве мы не всегда понимаем передачу. Иногда она входит в тело раньше смысла и годами лежит там, как семя под снегом.

Мы вышли из избы поздно.

Мороз стал ещё крепче. Луна поднялась выше. Снег светился холодным светом, и дорога обратно была похожа на белую тропу между двумя темнотами: лесом и небом. Изба, где осталась женщина с чашкой воды и лампой, постепенно уходила за спину. В окне ещё дрожал огонёк. Я обернулся один раз и увидел, как на стекле промелькнула чья-то тень — может быть, старуха, может быть, сама женщина подошла посмотреть нам вслед. Бабка Каля не оборачивалась.

Я шёл рядом с ней и всё думал о женщине, о воде, о тени у печи, о ключе на веках. Снег скрипел под валенками. В рукавице лежал ключ, и казалось, он стал не тяжелее, а значительнее. Как будто теперь это был не просто старый металл, а предмет, который видел больше меня.

— Баб, — сказал я наконец, — а Вий правда был?

Она не сразу ответила. Под ногами скрипел снег. Где-то далеко, у леса, ухнула сова. Этот звук был короткий, глубокий и сразу исчез в морозном воздухе.

— Правда, — сказала бабка Каля.

— А где он?

— Где боишься смотреть.

Я посмотрел в сторону леса. Там было темно. Стволы деревьев стояли плотной стеной. Между ними не было видно ни дороги, ни света, только чёрная глубина. Я сразу отвернулся.

Бабка заметила.

— Вот там и стоит.

Я крепче сжал ключ в рукавице.

— Он плохой?

— Нет.

— А страшный?

— Страшный.

— Почему?

— Потому что видит.

Мы дошли до дома. В сенях было темно. Обычно я в такие сени входил быстро, почти бегом, чтобы не чувствовать спиной пустоту. Там всегда что-то шуршало, висели тёмные полушубки, стояли мешки, в углу пахло старой кожей, мышами и сыростью. Днём это были просто сени. Ночью — другое место.

Бабка Каля остановилась у двери и сказала:

— Иди первый.

— Там темно.

— Знаю.

— А ты?

— Я тут.

Я стоял перед тёмными сенями и чувствовал, как вся изба за внутренней дверью стала далёкой. Темнота внутри была не просто отсутствием света. Она будто ждала. И в ней, как мне казалось, стоял тот самый малый Вий, которого бабка Каля назвала у печи. Не тот, что держал веки женщины, а мой — маленький, детский, но настоящий.

Я хотел попросить лампу.

Хотел сказать, что боюсь.

Хотел сделать вид, что завязка на валенке развязалась.

Но ключ в рукавице холодил ладонь.

Я шагнул.

Одна половица скрипнула. Потом другая. Из угла пахло сыростью и старой кожей. Что-то шуршало за мешками. Я дошёл до внутренней двери и взялся за ручку.

За спиной бабка Каля сказала:

— *Не беги.*

Я остановился.

Темнота стояла вокруг меня. Я дышал часто. Потом медленнее. Потом ещё медленнее. Я не видел почти ничего, только слабую серую полосу от щели под дверью. В какой-то момент мне показалось, что темнота сейчас приблизится, коснётся лица, схватит за плечи. Но она не приблизилась. Она просто была.

И вдруг я понял: темнота не трогает меня.

Она просто есть.

Я открыл дверь в избу.

Печь светилась красным. Кот Барсик лежал на своём месте и смотрел на меня так, будто проверял, прошёл я или нет. В избе было тепло, но теперь это тепло ощущалось иначе: не как спасение от темноты, а как то, к чему возвращаются после перехода.

Бабка Каля вошла следом, сняла шаль, повесила её на крюк.

— *Вот, — сказала она. — Первый мост.*

— *Какой мост?*

— *Калинов.*

— *Где?*

— *Там, где страх калится.*

Я не понял, но слово запомнил.

Калинов.

Калить.

Закалка.

Каля.

Бабка Каля.

Позже, много лет спустя, я узнаю, что Калинов мост в старых сказках стоит над рекой Смородиной. Что под ним течёт не просто вода, а граница между жизнью и смертью, между мором и родом. Что каждый человек в своей жизни много раз подходит к этому мосту, но не каждый понимает, что стоит уже на нём. Тогда же моим Калиновым мостом были простые тёмные сени, запах старой кожи, скрип доски и одна слабая полоска света под дверью.

И я прошёл их не потому, что перестал бояться.

Я прошёл их потому, что не убежал.

Бабка Каля поставила чашку с оставшейся водой на подоконник.

— *Не трогай до утра.*

— *Почему?*

— *Вода слово помнит.*

Потом она взяла ржавый ключ и повесила обратно на гвоздь. Ключ качнулся и тихо стукнул о стену. Этот звук был короткий, но почему-то мне показалось, что он останется в доме надолго.

— *Баб, а когда он откроет дорогу?*

Она долго смотрела на ключ. Лицо её в красном печном свете стало усталым, старым, но глаза оставались тёмными и ясными.

— *Когда меня не будет, — сказала она. — Когда тех, к кому я тебя водила, тоже не будет. Когда ты решишь, что всё это умерло. Тогда он заржавеет для тебя до конца. Тогда и пойдёшь.*

— *Куда?*

— *По лунной дороге.*

— *А что там?*

Она села на лавку. Долго молчала. За окном мороз снова вздохнул в бревно.

— *Слова.*

— *Заговоры?*

— *И заговоры.*

— *А ещё?*

Бабка Каля посмотрела на печь.

— *Врата.*

— *Какие врата?*

— *Увидишь.*

— *А кто там?*

— *Вий.*

У меня похолодело внутри.

— *Опять?*

— *Каждый раз.*

— *А зачем?*

— *Чтобы ты не брал слово слабой рукой.*

Я молчал. Печь потрескивала. На окне морозные узоры становились гуще, будто зима действительно писала на стекле свои письма. Кот прыгнул с печи, прошёл по лавке, понюхал чашку с водой и недовольно отошёл, словно вода сказала ему что-то, чего он не одобрил.

Бабка Каля вдруг сказала совсем тихо:

— *Есть одно слово. Самое главное. Не от глаза одного. От тьмы.*

Я поднял голову.

— *Какое?*

Она не ответила сразу.

Потом сказала:

— *Рано.*

— *А потом скажешь?*

— *Я уже сказала.*

— *Когда?*

— *Сегодня. Но ты пока не услышал.*

Я нахмурился.

— *А как оно называется?*

Бабка Каля провела рукой по столу, будто стирала невидимую пыль.

— *Светозар.*

Слово легло в избу тихо, но так, что мне показалось: печь стала светить ровнее. Не ярче, не сильнее, а именно ровнее. Будто внутри красного жара на мгновение выпрямилось дыхание.

Светозар.

Я повторил про себя и ничего не понял.

Бабка Каля строго посмотрела на меня.

— *Не болтай его. Такое слово зря не носят.*

— *А что оно делает?*

— *Не делает. Открывает.*

— *Что открывает?*

— *Когда дойдёшь, узнаешь.*

Она поднялась, взяла полотенце, которым утирала глаза той женщины, и повесила его у печи сушиться. Влажная ткань сразу начала отдавать паром. В воздух поднялся слабый запах воды, чужой избы, страха и дыма.

— *Запомни одно, — сказала она. — Смерть сильна только над тем, кто заранее закрыл глаза.*

Эта фраза была слишком большой для ребёнка.

Я не понял её.

Я только почувствовал, что в избе стало как-то тише. Даже печь потрескивала осторожнее. Слова не вошли в голову, но легли в тело, как ключ ложится в ладонь: холодно, тяжело, не по размеру детскому пониманию.

В ту ночь я долго не мог уснуть. Лежал на печи, слушал, как за стеной вздыхает мороз, как в подполье скрипит дерево, как кот урчит где-то в ногах. Мне казалось, что в сених кто-то стоит. Не злой. Не добрый. Просто стоит и смотрит.

Я боялся открыть глаза.

Потом вспомнил бабкины слова: «Вий там, где боишься смотреть».

И открыл.

В темноте ничего не было.

Только слабый красный отблеск печи на стене. Только тени трав под потолком. Только луна на стекле. Только дом, ночь, дыхание, жизнь.

Но с того вечера я уже знал: темнота бывает разная.

Одна приходит снаружи.

Другая поднимается изнутри.

И если человек заранее закрывает глаза, внутренняя темнота становится хозяйкой.

Много лет спустя, когда бабки Кали уже не было, когда многие из тех, к кому она водила меня ребёнком, ушли в землю, когда их дома осели, заборы упали, дороги заросли крапивой, а деревни исчезли с карт, я найду тот самый ржавый ключ.

Он будет лежать в старой коробке среди пуговиц, лоскутов, сухих трав и пожелтевших бумажек. Я возьму его в руку. И он снова окажется холодным. Тогда я вспомню зимнюю избу, женщину с потухшим взглядом, чашку воды, тень у печи, бабкины пальцы на моих веках и слово, которое она сказала почти шёпотом:

Светозар.

И пойму: ключ наконец заржавел до конца.

Дорога открылась.

Глава 2. Плащ этнографа

Ключ нашёлся не сразу.

Сначала я нашёл старую коробку.

Она стояла в самом низу шкафа, в той пыльной глубине, куда годами уходят вещи, не нужные каждый день, но слишком живые, чтобы выбросить их без внутреннего суда. Перед ней лежала стопка пожелтевших газет, перевязанная старой бечёвкой; пустая банка из-под чая с облупившейся зелёной этикеткой; свёрток с тряпками, которые никто не решался выбросить, потому что в каждом старом доме есть такие вещи: вроде бы ненужные, а рука не поднимается. В них уже не польза держится, а память. Лоскут может помнить платье, пуговица — пальцы, которые её застёгивали, тряпка — стол, который ею вытирали после дождя, после слёз, после чужого прихода.

Коробка была жестяная, из-под печенья, с выцветшими цветами на крышке. Когда-то, наверное, она была яркой, почти праздничной, с нарисованными розами или маками, с золотистой каймой по краю, но теперь краски ушли в тусклую ржавую бледность, как уходят голоса людей, если долго не произносить их имён. Края коробки были чуть погнуты, одна сторона примялась, крышка держалась туго. Когда я поднял её, внутри что-то глухо звякнуло.

Не звонко.

Не случайно.

Звук был короткий, плотный, будто в темноте коробки проснулся маленький кусок железа и напомнил: меня сюда положили не для забвения.

Я поставил коробку на стол.

За окном был уже не сибирский мороз моего детства. Не Новосибирская область, не Сузунский район, не Бедришка с глубокой зимней тишиной, не дом бабки Кали, где печь дышала красным жаром, а морозные узоры на стёклах казались ледяными письменами. За окном был город. Он шумел трубами, машинами, чужими голосами, лифтом в подъезде, далёкой сиреной, каплями дождя по жестяному отливу. В городе всё было устроено так, чтобы человек меньше слышал самого себя. Там даже одиночество звучало не тишиной, а фоном: холодильником, батареями, соседской дрелью, гулом дороги, рекламой за стеклом, телефонными уведомлениями.

На подоконнике стояла чашка с недопитым чаем. Рядом лежали мои блокноты, ручки, папки с записями, фотографии старых деревень, распечатки с названиями населённых пунктов, которые уже трудно было найти на современной карте. На одной распечатке красным карандашом были обведены места бывших деревень, на другой — старые дороги, на третьей — список фамилий, которые я собирался проверить. Всё выглядело тщательно, почти научно. Человек собрал материалы, разложил записи, отметил маршруты, составил вопросы. Решил поговорить со стариками о сказках, заговорах, наговорах, народной медицине, обрядах и поверьях, связанных с глазами, зрением, водой, испугом, порогом и светом.

Так можно было объяснить любому.

Так можно было объяснить самому себе.

Этнографический интерес. Сбор редких материалов. Исследование народной традиции. Полевые записи. Живая речь. Исчезающий фольклор. Всё это были хорошие слова — удобные, чистые, почти безопасные. Они позволяли держать дистанцию. Они делали мою дорогу разумной, культурной, оправданной, внешне понятной. В этих словах не было ни страха, ни родовой обязанности, ни той холодной тяжести, которая приходит, когда человек понимает: он идёт не за материалом, а за тем, что однажды было передано ему без спроса.

Но когда я открыл коробку, вся эта аккуратная научная оболочка вдруг стала тонкой, как бумага на старом окне.

Внутри лежали пуговицы, обрывки красной нити, маленький матерчатый мешочек с травой, потемневшая медная монета, кусочек воска, сухой лист, сложенный между двумя бумажками, и несколько записок, исписанных рукой бабки Кали. Бумага была тонкая, почти прозрачная, с коричневыми пятнами времени. Чернила выцвели, но буквы ещё держались. Они были неровные, сухие, чуть наклонённые вперёд, будто рука писала быстро, не для красоты, а чтобы удержать то, что не любит задерживаться на бумаге.

Я не сразу тронул записки. Сначала перебрал пуговицы. Одни были костяные, простые, с четырьмя дырочками. Другие — металлические, потемневшие, словно маленькие монеты без цены. Красная нить была связана узлом, но узел не был затянут до конца. В этом тоже чувствовалась намеренность: не оборвать, не запереть, а оставить возможность хода. Мешочек с травой, несмотря на годы, всё ещё хранил слабый горький запах. Полынь? Зверобой? Чабрец? Или та смесь, которую я знал не по названиям, а по детскому ощущению: сухое лето, убранное под потолок избы, чтобы зима не думала, что она хозяйка навсегда.

Кусочек воска был тёмно-жёлтый, с прилипшей ниткой. Если поднести его ближе к лицу, от него тянуло слабым запахом старой свечи, печи и медовой глухоты. Медная монета давно потеряла блеск. Сухой лист между бумажками рассыпался бы от неловкого движения, поэтому я только приподнял верхний край и увидел прожилки, тонкие, как старческие вены.

На дне коробки лежал ключ.

Тот самый.

Ржавый, кривоватый, с круглой головкой.

Я узнал его сразу. Не глазами даже. Ладонью. Бывают вещи, которые узнаёшь не потому, что помнишь их форму, а потому, что тело помнит их холод. До сознания ещё не дошло: вот он, ключ бабки Кали, тот самый, который она когда-то дала мне держать у порога, — а пальцы уже знали шероховатость ржавчины, тяжесть маленького железа, неровность бородки. Кожа век уже вспоминала, как бабка Каля приложила его к моим глазам после первого ритуала и сказала:

— *Смотри не глазами одними. Смотри родом.*

Я взял ключ.

Он был холодный.

Не просто прохладный, как металл в комнате. А именно тот холод, который когда-то прошёл через рукавицу, через детскую ладонь, через кожу век, через мои первые тёмные сени, через первый Калинов мост, который тогда был всего лишь темнотой у двери, но на самом деле уже открывал дорогу. Этот холод был не температурой. Он был памятью, которая не просит разрешения. Она приходит и становится рядом.

Я сел.

Комната вокруг осталась прежней: стол, лампа, бумаги, книги, часы на стене, тёмное окно, дождливый город за стеклом. Но что-то изменилось. Словно не я нашёл ключ, а ключ нашёл меня. И с этого мгновения всё, что я собирался делать, перестало быть просто работой.

Ключ не открывал ни одной двери.

Но дверь уже открылась.

Я положил его на стол рядом с блокнотом. Ржавчина оставила на белой бумаге рыжее пятно, похожее на маленькое сухое солнце. Я долго смотрел на это пятно и постепенно видел в нём уже не солнце, а ожог. Так память прожигает бумагу — не огнём, а временем. Там, где железо коснулось листа, уже нельзя было делать вид, что всё это только исследование.

И тогда я вспомнил старика.

Не женщину из первой ночи, не тень у печи, не слово Светозар. Это пришло потом. А сначала всплыл старик, которого бабка Каля принимала в один серый мартовский день, когда снег уже потерял зимнюю чистоту, но весна ещё не решалась выйти из-под земли.

Март в Бедришке был временем между двумя мирами. Зима уже устала, но уходить не хотела. Весна уже дышала снизу, из-под снега, из-под досок, из-под коры деревьев, но ещё не имела силы подняться во весь рост. Дороги раскисали днём и схватывались коркой к вечеру. У заборов чернели проталины. Собаки ходили грязные по брюхо. Крыши плакали капелью так долго, будто дома сами не могли решить, оплакивают они зиму или радуются её концу.

В доме бабки Кали печь в такие дни топилась иначе. Не по-зимнему жаростно, не до красной тяжести в стенах, а ровно, долго, терпеливо. В избе пахло сыростью, дымом, картофельной кожурой и талым снегом. На подоконнике стояла глиняная миска со снегом, который уже почти растаял; по краям плавали белые островки, а вода была холодная, с мелкими пузырьками по стенкам, будто в ней ещё оставалось дыхание зимы.

Старика, кажется, звали Фёдором Парамоновичем. Или Парамоном Фёдоровичем. В детстве такие имена с отчествами смешивались, как дым над трубами. Я помню не имя. Я помню его глаза.

Они были водянистые, красные по краям, усталые. Не слепые, нет. Но будто затёртые. Как стекло в старой лампе, которое долго не мыли, а потом всё равно зажигали, надеясь, что свет пробьётся. Он пришёл к бабке Кале сам, без палки, но шёл так, будто дорога перед ним была не совсем уверенной. Заходя в избу, задел плечом косяк и выругался, но не зло, а привычно, как человек, который уже устал сердиться на мир и теперь сердится на себя.

— *Опять мимо, — сказал он. — Раньше в темноте иголку видел. А теперь дверь не поймаю.*

Бабка Каля сидела у стола и чистила картошку. Нож в её руке ходил ровно, коротко, снимая кожуру тонкой лентой. Она даже головы не подняла.

— *Дверь не убежит.*

— *Глаза бегут, Клавдия.*

— *Глаза не бегут. Ты их загонял.*

Он сел на лавку, тяжело, с таким звуком, будто вместе с ним на лавку опустилась вся его прожитая жизнь. Снял шапку. Волосы у него были редкие, белые, прилипшие ко лбу от сырости. От него пахло табаком, мокрой овчиной и холодным железом. Может, он был кузнецом. Может, плотником. Может, всю жизнь работал руками там, где дерево, металл, дым и ругань были обычными спутниками дня. В памяти остались только запах и руки: большие, тяжёлые, с трещинами, чёрными у ногтей, руки человека, который привык держать мир грубо, потому что иначе, как ему казалось, мир не удержится.

— *Работал много? — спросила бабка Каля.*

— *Всю жизнь.*

— *Злился много?*

Он усмехнулся. Усмешка вышла сухая, без радости.

— *А как без этого?*

— *Вот и смотришь теперь злостью. От злости глаз сухой делается.*

Старик крякнул.

— *Это ты складно говоришь. А у меня глаза болят. Режет, жжёт. Слезы нет, будто песку насыпали.*

Бабка Каля отложила нож. Картошка, недочищенная, осталась у неё в ладони. Она посмотрела на старика не сурово, но так пристально, что он перестал тереть глаза рукавом.

— *Песок не в глазах. Песок в словах. Ты сколько раз в день говоришь: «Всё надоело»?*

Старик замолчал.

— *Сколько раз говоришь: «Не хочу видеть»?*

Он отвернулся к окну. За мутным стеклом лежал серый двор, мокрый снег, поленница, чёрный забор. Весной там ещё почти не пахло. Только сыростью и ожиданием.

— *Бывает, — сказал он.*

— *Вот глаз и слушает.*

Я тогда сидел на печи, свесив ноги, и делал вид, что мне неинтересно. На самом деле я слушал каждое слово. После той первой ночи с женщиной, у которой «страх сел на очи», я уже знал: когда бабка Каля говорит о глазах, рядом может открыться что-то странное. Снаружи всё может быть просто: лавка, старик, печь, миска с талой водой. Но внутри этой простоты начинало двигаться то, что не помещалось ни в школьную тетрадь, ни в городское объяснение.

Старик достал из кармана сложенную тряпицу. Тряпица была серая, засаленная, пахла табаком.

— *Врач капли дал.*

— *Капай, если дал, — сказала бабка Каля. — А слово своё тоже смотри.*

— *Слово-то при чём?*

— *При всём. Глаз не только свет ест. Глаз слово ест. Чем кормишь, тем и смотрит.*

Эту фразу она уже говорила той женщине, у которой страх сел на очи. Но теперь я услышал её иначе. Тогда она звучала как запрет: не называй себя слепнувшей, не корми глаз темнотой. А здесь было другое: не бей глаз своей злостью, не гони его, не заставляй видеть мир, который ты сам каждый день проклинаешь.

Бабка Каля велела мне слезть с печи.

— *Воду принеси.*

Я спрыгнул на пол.

— *Из колодца?*

— *Из-под окна. Там талая.*

Я взял глиняную миску со снеговой водой двумя руками. Она была холодная, шероховатая, тяжёлая. Вода чуть качнулась, и белые островки снега медленно поплыли к краю. Я боялся пролить, потому что бабка Каля уже смотрела на меня тем взглядом, который означал: если поручено, держи как надо.

— *Не пролей, — сказала она.*

Я поставил миску рядом со стариком.

— *Теперь полотенце.*

Полотенце лежало у печи, грубое, льняное, с красной полосой по краю. Оно пахло дымом, мылом и деревенской чистотой — той, которую не даёт никакой порошок, потому что она не только от стирки, а от воды, золы, рук и печного тепла. Бабка Каля развернула его, сложила вчетверо, намочила край талой водой и велела старику закрыть глаза.

— *А если щипать будет?*

— *Пусть щиплет. Не всё, что щиплет, вредное.*

Старик закрыл глаза. Лицо его сразу стало другим: грубость ушла, осталась усталость. Так часто бывает, когда человек закрывает глаза не от страха, а по доверию. Лицо перестаёт держать оборону, и наружу выходит то, что он привык прятать под раздражением, ворчанием или тяжёлой привычкой быть сильным.

Бабка Каля приложила полотенце к его векам. Не давила. Не терла. Просто держала. В этом держании было больше силы, чем в иной суете. Она не торопила глаз, не уговаривала, не обещала чуда. Она как будто давала ему право перестать быть загнанным.

— *Ты, — сказала она мне, — стой у окна.*

— *Зачем?*

— *Весна там.*

Я подошёл к окну. Стекло было мутное, с разводами. За ним виднелся серый двор, мокрый снег, поленница, чёрный забор. Весной там и не пахло. Но бабка Каля сказала «весна», значит, так и было. У неё многие вещи сначала назывались, а потом только становились видимыми.

— *Как скажу, откроешь форточку.*

— Она примерзла.

— Значит, оторвёшь.

Старик усмехнулся с полотенцем на глазах.

— Малой-то справится?

— Малой должен знать, когда открыть.

Я положил пальцы на задвижку. Она была холодная, тугая, чуть ржавая. Мне не нравились такие поручения, где взрослые не объясняли, что будет, если я не справлюсь. Но у бабки Кали это всегда было частью дела. Она не давала ребёнку стоять в стороне, но и не превращала его участие в игру. Если держишь чашку — держи. Если стоишь у порога — стой. Если надо открыть форточку — открой, даже если она примерзла.

Бабка Каля начала шептать.

В тот раз слова были суше, короче, будто не вода текла, а зерно сыпалось в деревянную мерку:

Не песок в очи,
не злость в веки,
не сухой ветер в зеницу.

Снегу таять,
воде идти,
глазу смягчать,
слову добреть.

Что пересохло — отпусти.
Что ожестело — отогрей.
Что смотреть устало — не гони.

Свет придёт не кнутом,
а тёплой рукой.

Потом она кивнула мне.

Я дёрнул форточку. Она не поддавалась. Дёрнул сильнее. Дерево хрустнуло, лёд треснул по краю, и в избу вошёл холодный мартовский воздух. Он был резкий, сырой, с запахом мокрого снега, дыма, сырых досок и чего-то едва живого, ещё спрятанного в земле. Наверное, это и была весна: не зелень, не тепло, не птичий крик, а первый сырой вздох земли под снегом.

Старик под полотенцем вздохнул.

— Холодно.

— Вот и хорошо, — сказала бабка Каля. — Живое холодом просыпается, теплом держится.

Она сняла полотенце.

— Открывай.

Старик открыл глаза. Моргнул. Потом ещё раз. Посмотрел на окно. Лицо его изменилось не чудесно, не резко, но в нём появилась растерянность человека, который вдруг почувствовал то, на что уже перестал надеяться.

— Слезится, — сказал он удивлённо.

— Пусть слезится.

— Давно так не было.

— Потому что ты глаз всё время заставлял. А глаз не лошадь. Его не загоняют.

Старик сидел тихо. По одному его глазу медленно текла слеза. Он не вытирал её. Эта слеза была не чудом, не мгновенным исцелением, не сказочным прозрением, а маленьким возвращением живого движения. Бабка Каля смотрела на неё с таким вниманием, будто по щеке старика текла не вода, а первый весенний ручей после долгого мороза.

Она пододвинула к нему миску с талой водой.

— *Три утра подряд. Снеговая вода. Не ледяная, не тёплая. Живая. Умойся и скажи: «Не гоню, принимаю». И семь дней не говори: «Не хочу видеть». Даже если язык просится.*

— *А если скажу?*

— *Значит, начнёшь сначала.*

Он кивнул, как человек, которому дали не совет, а работу.

Потом бабка Каля повернулась ко мне.

— *Запомнил?*

— *Что?*

— *Когда глаз устал, его не толкают. Его зовут.*

Я кивнул.

— *А это заговор?* — спросил я.

Старик засмеялся:

— *Ишь ты, учёный.*

Бабка Каля посмотрела на меня строго.

— *Заговор, наговор, сказ, молитва, слово — всё это разные двери. Но если через дверь никто не вошёл, дверь ни при чём.*

— *А можно записать?*

Она помолчала. Потом взяла полотенце и бросила мне.

— *Записать можно скорлупу. Живое надо принять.*

— *Как?*

— *Помогая.*

Тогда я не понял, что это было второе звено моей передачи. Не слова. Не тетрадь. Не тайная формула. А действие: принести воду, открыть окно, выдержать холод, стоять в нужном месте и не мешать слову проходить. Вот что значит принять. Не взять, не добыть, не списать с чужой бумажки, а войти в круг так, чтобы твоё присутствие не испортило движения.

Теперь, спустя годы, я сидел за городским столом, держал ржавый ключ и понимал: бабка Каля с детства учила меня не записывать заговоры, а быть внутри них.

И именно поэтому мне было страшно.

Не просто тревожно перед дорогой. Не просто волнительно перед большой работой. А страшно так, как бывает, когда человек вдруг понимает: он давно обещал что-то, но забыл кому, а теперь срок пришёл. Внешне ничего не изменилось. На столе лежали бумаги. За окном шумел город. Чай остывал. Часы шли. Но внутри поднялось то же чувство, что когда-то в тёмных снях: можно попросить лампу, можно сослаться на разумность, можно отложить до утра, до лета, до лучших обстоятельств, до более ясного плана. Но если ты уже держишь ключ, отговорки становятся слишком заметными.

Я разложил на столе старые бумажки.

На одной было написано несколько слов:

«*Кривой Лог. Аксинья. Вода. Порог. Не брать без ключа.*».

На другой:

«*Парамоньч. Сухой глаз. Снеговая вода. Окно открыть.*».

Третья была почти пустая, только в углу стояли две буквы: «С. З.». Под ними короткая черта, будто бабка Каля хотела написать дальше, но не стала. Или не имела права. Или знала, что дальше должно быть не написано, а найдено.

Светозар.

Я не произнёс это вслух.

Слова бывают разные. Одни можно говорить бездумно, они ничего не меняют и сами ничего не требуют. Другие лучше не трогать, пока не готов. Имя Светозара с детства жило во мне именно таким словом. Не запретным даже, а тяжёлым. Оно не пугало, но требовало меры. Оно было похоже на уголь под золой: снаружи серо, тихо, почти мёртво, а внутри ещё держится жар, который может вспыхнуть, если дунуть не вовремя.

Я достал чистый блокнот. На первой странице написал:

«Русские заговоры, наговоры и сказки ясного взгляда. Полевые записи».

Посмотрел.

Зачеркнул.

Написал ниже:

«Лунная дорога ведунов».

Тоже зачеркнул.

Потом долго сидел, пока чернила высыхали неровными полосами.

В конце написал только одно слово:

«Светозар».

И закрыл блокнот.

В тот момент я ясно понял, что не имею права идти к старым людям как человек, который просто хочет добыть редкий материал. Это было бы воровство. Даже если вежливо. Даже если с диктофоном, вопросником и благодарностями. Даже если потом написать хорошую книгу. Заговоры не любят добытчиков. Их не находят, как грибы в лесу. Их не коллекционируют, как монеты. Их не вытаскивают из стариков клещами любопытства. Заговоры либо дают, либо не дают. А если дают, то не текст. Дают ответственность.

И вот тут поднялся мой Вий этой главы.

Не Вий темноты, как в детстве.

Не Вий испуга, который держал веки той женщины у печи.

А Вий предназначения.

Он не рычал, не стоял в углу тенью, не пах мраком. Он говорил разумным голосом. Он умел пользоваться взрослыми словами. Он шептал: «Зачем тебе это? Ты можешь написать исследование. Можешь собрать материалы. Можешь остаться в безопасной роли человека, который изучает чужую традицию, а не отвечает за свою. Не называй себя наследником. Это слишком громко. Это слишком опасно. Это смешно. Это неудобно. Это нельзя доказать. Это могут не принять».

И я понимал: этот Вий держит не глаза, а признание. Он закрывает человеку не мир, а собственную дорогу. Через него всё становится аккуратным, объяснимым и мёртвым. Через него живое знание превращается в объект изучения, а наследник — в осторожного наблюдателя.

Я встал, подошёл к окну. На стекле отражалась комната: стол, лампа, коробка, мои руки, ключ. За окном шёл мелкий дождь. Городской дождь, не деревенский. Без запаха травы, без тины, без глины на сапогах. Он падал на асфальт, на машины, на крыши, на провода. Но сквозь этот дождь я вдруг увидел другой: сибирский март, серый снег, форточку, которую надо открыть, старика с полотенцем на глазах.

И ещё увидел себя маленького у окна.

Стою и жду, когда бабка Каля скажет: «Открывай».

Теперь она не скажет.

И всё равно надо открыть.

Я вернулся к столу и начал собирать вещи. Не много. Блокнот, ручки, старый фотоаппарат, несколько конвертов для записей, тёплые носки, нож, фонарик, маленькую флягу, платок

из той же коробки, бабкин ключ. Ключ я завернул в кусок старой ткани и положил отдельно, во внутренний карман. Он лёг туда тяжело, не как предмет, а как поручение.

Потом взял первую бумажку.

«Кривой Лог. Аксинья. Вода. Порог. Не брать без ключа».

Кривой Лог.

Я помнил это название смутно. Не деревню даже, а ощущение. Кажется, мы с бабушкой Калей туда ходили или ехали. Было там что-то с низкими домами, с оврагом, с кривой дорогой, уходящей вниз, с забором, у которого росла злая крапива. Или это память уже достраивала сама, потому что память — не архив. Она не хранит всё подряд. Она выращивает то, что однажды понадобится.

Я открыл карту.

Кривого Лога не было.

Были Верхний Лог, Сухой Лог, Новый Лог. Кривого не было. На старых картах, которые я нашёл позже, он значился крошечной точкой у реки, почти случайной отметкой между лесом и оврагом. Потом исчез. То ли деревню присоединили к другой, то ли люди разъехались, то ли название осталось только в памяти тех, кто уже почти ничего не помнил.

Я позвонил одному знакомому краеведу.

Он долго шуршал бумагами, что-то искал, переспрашивал, уходил от телефона, возвращался.

— *Кривой Лог? Был такой. Кажется, нежилой уже. Или почти нежилой. Там дороги нормальной нет. А зачем тебе?*

— *Фольклорные записи, — сказал я.*

Он засмеялся.

— *Ну да, конечно. Там только фольклору и жить.*

— *Как туда попасть?*

— *Прямо не попадёшь. До станции, потом автобусом до Верхней Кручи, потом если повезёт, кто-нибудь довезёт. А дальше пешком. Но сейчас распутица. Тебя туда зачем именно сейчас несёт?*

Я хотел ответить: потому что ключ заржавел.

Но сказал:

— *Надо.*

Он помолчал.

— *Тогда возьми сапоги. И не верь карте. Там дорога на карте одна, а земля другая.*

Эти слова мне понравились.

Дорога на карте одна, а земля другая.

Так и было со всем, что мне предстояло. На карте это была экспедиция. На земле — возвращение. На бумаге — сбор материалов. Внутри — дорога, начатая давно, ещё тогда, когда бабушка Каля поставила меня у порога и велела держать ключ.

Через два дня я сел в поезд.

Вагон был старый, с тёмно-зелёными стенами, с запахом железа, пыли, варёных яиц, мокрых пальто и чужих дорог. Люди входили, выходили, гремели сумками, доставали термосы, разворачивали газеты, шептались, спорили о ценах, спали, уткнувшись в стекло. За окном тянулись серые поля, мокрые лесополосы, деревни с низкими крышами, станции с облупившимися табличками. Иногда поезд проходил мимо кладбищ, и кресты мелькали между деревьями так быстро, будто сама земля на мгновение показывала: не забывай, куда ведут все дороги, если смотреть только вниз.

Я сидел у окна и держал во внутреннем кармане бабкин ключ. Иногда мне казалось, что он холодит грудь даже через ткань. Я пытался читать, но строки расплзались. Пытался делать заметки, но рука писала не то. В блокноте появилась фраза:

«Я иду как этнограф, но дорога знает, кто я».

Я посмотрел на неё и закрыл блокнот.

Эта фраза была слишком точной, а точные слова иногда опаснее приблизительных. Приблизительными можно прикрыться. Точные требуют ответа.

К вечеру поезд остановился на маленькой станции. Название было написано синими буквами на белой доске. Ветер трепал край объявления о продаже картошки. На перроне стояла женщина с вязаной сумкой, мужчина в ватнике и мальчик с красным велосипедом, слишком чистым для этой грязной весны. Воздух пах мокрым деревом, дымом и ржавым железом. Станция казалась не местом прибытия, а краем карты, за которым начиналась уже не география, а память.

Автобус до Верхней Кручи пришёл через час. Маленький, дребезжащий, с мутными окнами и сиденьями, которые помнили больше спин, чем любой архив — человеческих судеб. Водитель посмотрел на меня, на сумку, на сапоги.

— Далеко?

— До Верхней Кручи.

— А дальше?

— Кривой Лог.

Он хмыкнул.

— Там никого нет.

— Может, один дом.

— Один дом — это уже не «никого», — сказал водитель и зачем-то перекрестился на дороге.

В автобусе было пять человек. Старушка с корзиной, парень в камуфляжной куртке, две женщины с пакетами и мужчина, который всю дорогу молчал, прижимая к груди свёрток с чем-то длинным и узким. Может, удочки. Может, лопаты. Может, ничего важного. Но в таких дорогах каждый предмет кажется знаком, потому что сам ты уже перестал верить в случайность так, как верил раньше.

Автобус трясся по разбитой дороге. За окном темнело. Лес подходил близко, отступал, снова подходил. В низинах лежал туман. Он был белёсый, тяжёлый, словно земля выдыхала старую память. Колёса хлюпали в грязи, кузов скрипел, стекло у моего плеча дрожало, и всё это вместе звучало как медленная, нестройная песня дороги, которая не обещает удобства, но ведёт туда, куда надо.

На одном повороте старушка с корзиной вдруг спросила:

— Ты к кому в Кривой?

Я повернулся.

— К Аксиные.

В автобусе стало тише. Даже водитель будто сбросил скорость.

— Аксиныя-то умерла, — сказала старушка.

Я молчал.

— Давно?

— Лет семь будет. Может, восемь. Там дочь её осталась. Или внушка. Кто их разберёт. Дом у них всё стоит. Порог крепкий.

Слово «порог» ударило точно в то место, где лежал ключ.

— Вы её знали?

Старушка посмотрела в окно.

— Кто ж Аксиныю не знал. Она воду держала.

— Как это?

Старушка повернулась ко мне, и я вдруг увидел, что глаза у неё маленькие, живые, острые. Не старческие даже, а испытующие. Такими глазами смотрят люди, которые много раз видели, как чужие вопросы приходят раньше чужого права.

— *А ты кто такой, чтобы спрашивать?*

Я мог сказать: исследователь. Мог сказать: собираю фольклор. Мог сказать: пишу книгу. Мог вынуть блокнот, объяснить цель поездки, сослаться на исчезающую традицию, культурное наследие, устную память. Всё это было бы правдой. Но не всей.

И в этот миг мой плащ этнографа впервые стал тяжёлым.

Я почувствовал стыд. Не за то, что ехал с блокнотом, а за то, что хотел спрятаться за ним. Блокнот был удобен: он давал право спрашивать, не отвечая. А старушка спросила не о профессии. Она спросила: кто ты перед этой дорогой?

Я положил ладонь на внутренний карман, где лежал ключ.

— *Я от Клавдии Ивановны, — сказал я. — От бабки Кали.*

Старушка перестала моргать.

— *Калин мальчишка?*

Слова были простые, но внутри автобуса будто что-то сдвинулось. Парень в камуфляже поднял голову. Водитель посмотрел в зеркало. Женщины с пакетами замолчали. Мне вдруг стало неуютно, будто меня называли не именем, а тем, кем я был до всех своих взрослых объяснений.

— *Был мальчишкой, — сказал я. — Теперь уже нет.*

Старушка долго смотрела на меня. Потом кивнула.

— *Мальчишки не уходят. Они только стареют.*

Она полезла в корзину, достала завёрнутый в платок кусок чёрного хлеба и протянула мне.

— *Возьми.*

— *Зачем?*

— *В Кривой с пустыми руками не входят.*

— *А хлеб?*

— *Хлеб всегда знает, куда его несут.*

Я взял хлеб. Он был тёплый. От него пахло ржаной коркой, печью и чем-то домашним, давно забытым. На мгновение мне показалось, что не старушка дала мне хлеб, а сама дорога проверила, не пришёл ли я как добытчик, который хочет взять, ничего не внося.

— *А дорога туда?*

— *От Верхней Кручи пойдёшь вниз. Увидишь берёзу с раздвоенным стволом. От неё направо. Потом овраг. Потом старая мельничная канава. Там не иди по прямой, хотя захочется. Прямая дорога там врёт. Ищи кривую.*

— *Кривую?*

— *Кривой Лог по прямой не находят.*

Старушка отвернулась.

Больше она со мной не говорила.

Но её слова остались рядом, как ещё один предмет в кармане. Не иди по прямой. Прямая дорога там врёт. Тогда я ещё не знал, что это относилось не только к тропе. Ведовская дорога вообще редко бывает прямой. Прямо идут туда, где всё уже известно. К Вратам идут иначе: через ошибку, задержку, чужой взгляд, испуг, поворот, который разум счёл бы лишним.

Когда автобус высадил меня у Верхней Кручи, уже почти стемнело. Дождь кончился, но воздух был мокрый, тяжёлый, налитый сыростью. Дорога блестела. Вдалеке чернел лес. Где-то лаяла собака, и этот лай казался не сторожевым, а одиноким. В деревне горело три окна, не больше. Остальные дома стояли серыми, закрытыми, будто смотрели на меня тёмными глазами.

Я стоял с сумкой, хлебом, блокнотом и бабкиным ключом во внутреннем кармане.
Можно было переночевать.
Можно было подождать утра.
Можно было поступить разумно.

И именно в эту минуту я понял, что мой внутренний Вий снова поднял веки и смотрит на меня. Он говорил голосом осторожности, здравого смысла, уважения к обстоятельствам. Он говорил: «Ты устал. Темно. Дорога плохая. Пойдёшь утром. Так правильнее. Так безопаснее. Так делают взрослые люди». И всё это было верно. Но за этой верностью пряталась другая: я боялся не темноты и не грязи. Я боялся переступить ту границу, после которой экспедиция станет дорогой, а я уже не смогу вернуться в удобную роль собирателя.

Лунная дорога не любит, когда человек слишком долго советуется со своим удобством.
Я пошёл.

Сначала дорога была широкая, глинистая, с глубокими колеями, в которых стояла мутная вода. Сапоги вязли, грязь тянула вниз, ремень сумки давил на плечо. Потом дорога сузилась и ушла вниз. Ветки били по рукавам, мокрая трава цеплялась за штанины, капли с кустов сыпались за воротник. В темноте берёзы казались белыми спинами каких-то молчаливых существ, стоящих вдоль пути. Я искал раздвоенный ствол и почти пропустил его: две берёзы росли из одного корня, расходясь в стороны, как раскрытые ворота.

От них я повернул направо.

В овраге пахло сырой землёй, прошлогодними листьями и холодной водой. Где-то внизу журчал ручей. Я поскользнулся, выругался, схватился за куст. Прошлогодня крапива, сухая, чёрная, всё равно оцарапала руку. Боль была острая, почти летняя, и странно: именно она вернула мне первую деревню, первую избу, первую женщину с потухшим взглядом, калитку с сухой крапивой у забора. Память иногда входит в человека не через мысль, а через кожу.

Кривой Лог по прямой не находят.

Я дошёл до старой мельничной канавы. Прямо шла тропа, удобная, заметная. Вправо уходила другая, едва видная, заваленная ветками. Разум сразу выбрал прямую. Нога уже сделала шаг. Но во внутреннем кармане ключ будто ткнулся в грудь. Не мистически, не как в сказке, где предмет оживает и ведёт героя. Просто ткань натянулась, металл сместился, и вместе с этим движением всплыли слова старушки: «Прямая дорога там врёт».

Я остановился.

В этом и был мой Калинов мост второй главы. Не огонь, не река, не тёмные сени, а один почти незаметный выбор между удобной прямой тропой и кривой, мокрой, веточной, непонятной. Между ролью человека, который всё рассчитывает, и дорогой того, кто готов быть ведомым не картой, а знаком.

Я повернул на кривую.

И почти сразу увидел в темноте огонёк.

Один.

Низкий.

Жёлтый.

Не электрический даже, а такой, каким светит лампа в окне старого дома, где ночь ещё не вытеснила человеческое присутствие окончательно.

Дом стоял за покосившимся забором. У калитки росла крапива, чёрная после дождя. Крыша просела. Труба дымила тонко, неуверенно. На крыльце лежали дрова, накрытые старой мешковиной. Из сеней тянуло запахом мокрых валенок, лука, дыма и редьки из погреба.

Я стоял перед калиткой и вдруг понял, что уже был здесь.

Не умом понял. Телом.

Рука сама потянулась к внутреннему карману. Ключ был холодный. Я достал его, подержал в ладони, но к калитке приложить не решился. Она и так открылась, когда я толкнул её плечом. Скрипнула протяжно, будто ждала этого скрипа много лет.

На пороге появилась женщина.

Лет пятидесяти, может быть больше. В платке, с тёмным лицом, сухими губами и глазами, которые сразу посмотрели не на мою сумку, не на сапоги, не на лицо, а куда-то глубже, туда, где человек обычно старается держать свои настоящие причины подальше от чужого взгляда. Она была невысокая, крепкая, с руками, которые, казалось, не умели лежать без дела: даже стоя в дверях, она большим пальцем перебирала край передника, будто проверяла ткань на прочность. На правой щеке у неё была тонкая белая полоска старого шрама. Голос — низкий, негромкий, без приветливости, но и без грубости.

— *Долго шёл, — сказала она.*

Я не понял, вопрос это или утверждение.

— *Дорога плохая.*

— *Дорога нормальная. Это ты прямую искал.*

Я молчал.

Она посмотрела на мой карман.

— *Ключ принёс?*

Я достал ржавый ключ.

Женщина не взяла его. Только кивнула, будто увидела не металл, а знак.

— *Значит, Клавдия была права.*

— *Вы знали её?*

— *Мать моя знала. Я девкой видела. Она тебя маленького приводила. Ты тогда воды боялся. И темноты.*

Я почувствовал, как в груди поднялось что-то старое, почти детское. Не память даже, а стыд маленького мальчика, которого узнают те места, где он когда-то был слабым.

— *Аксинья? — спросил я.*

— *Аксинья мать моя. Меня Марьей зовут. Заходи, Калин мальчишка. Только хлеб покажи.*

Я достал хлеб, который дала старушка в автобусе.

Марьяна рука дрогнула. Она перекрестила хлеб не церковно даже, а каким-то старым домашним движением, почти незаметным, как будто признавая не святыню, а правильный вход.

— *Значит, тебя не только мы ждали, — сказала она тихо. — Дорога сама тебя довела.*

Она отступила в сторону.

Я вошёл.

В избе было тепло. Но это тепло отличалось от городского. Оно было не от батарей, не ровное, не безличное, а печное — с дыханием, с перепадами, с красным сердцем внутри. На печи лежал рыжий кот, худой, длинный, с белым ухом. Он открыл один глаз, посмотрел на меня и снова прикрыл его, но хвостом ударил по кирпичу, будто отметил моё появление. На столе стояла чашка с водой. Рядом лежало белое полотенце, свёрнутое валиком. У стены висела старая фотография: несколько женщин у крыльца, в платках, лица тёмные от времени. Я не стал подходить, но среди них мне почудился знакомый наклон головы — может быть, Аксинья, может быть, мать Марьи, может быть, сама память хотела сразу связать меня с этим домом.

И у стола сидел мужчина.

Лет сорока, широкоплечий, небритый. Лицо серое, будто он долго жил в дыму и дым осел под кожей. Глаза мутные, тяжёлые, но не от физической слепоты, а от такой усталости, когда человек смотрит на мир не чтобы увидеть, а чтобы убедиться: всё всё равно плохо. Руки

лежали на коленях, большие, но бессильные. Пальцы то сжимались, то отпускались, словно он всё время хватался за невидимый край и не мог удержать.

Он поднял голову.

— *Это кто?* — спросил он.

Марья закрыла дверь.

— *Помощник.*

Я хотел сказать, что я не помощник. Что я приехал записывать, спрашивать, собирать, что я вообще ещё не знаю, зачем оказался здесь ночью с ржавым ключом и куском хлеба. Хотел достать блокнот, показать, что у меня есть задача, маршрут, цель, что я не пришёл самозванцем в чужой дом. Но на столе уже стояла вода, полотенце уже было свёрнуто, в кармане лежал ключ, а дверь за моей спиной уже закрылась.

И я промолчал.

Марья заметила это молчание и впервые посмотрела на меня не испытующе, а почти одобрительно.

— *Хорошо,* — сказала она. — *Кто сразу объясняется, тот обычно ничего не слышит.*

Мужчина криво усмехнулся.

— *Помощник, значит. А я думал, опять кто-то записывать пришёл. Всё им старики нужны, слова старые, сказки. А потом напишут, что народ тёмный был.*

Я почувствовал, как внутри кольнуло. Он ударил туда, куда надо. В мой плащ этнографа. В мой аккуратный блокнот. В моё желание быть законным, полезным, грамотным.

— *Я тоже записывать пришёл,* — сказал я.

Марья повернула голову.

— *Только не сначала.*

Мужчина посмотрел на меня внимательнее.

— *А с чего?*

Я положил хлеб на стол, рядом с чашкой воды.

— *Сначала помочь.*

Марьяна рука легла на хлеб. Она не поблагодарила и не похвалила. Просто кивнула, будто именно это и должно было быть сказано.

— *Тогда стой у двери,* — сказала она. — *Порог сегодня тяжёлый.*

Я вздрогнул. Порог. Снова порог. Слово из бабкиной записки, из первой ночи, из той детской позы между холодными сенями и горячей избой.

— *Ключ держать?* — спросил я.

— *Ключ пока не доставай. Он не для показа. Он для меры. Когда надо будет — поймёшь.*

Она подошла к мужчине. Двигалась Марья не плавно и не таинственно, а просто, хозяйски. Поправила на столе чашку, убрала лишнюю ложку, сдвинула лавку, прислушалась к печи, подкинула одно полено. Потом взяла старую тряпку и вытерла со стола мокрый след от моего хлеба. Всё это было первым кругом, хотя я ещё не называл его так: ритуал входил в дом не словами, а порядком. Хлеб должен лежать правильно. Вода — стоять в своём месте. Полотенце — быть под рукой. Дверь — закрыта. Порог — удержан. Лишний шум — убран.

— *Как зовут?* — спросила Марья мужчину.

— *Ты знаешь.*

— *Для воды скажи.*

Он раздражённо выдохнул.

— *Степан.*

— *Полностью.*

— *Степан Ильич.*

— *А теперь скажи, зачем пришёл.*

— *Глаза мутит.*

— *Это не зачем. Это что.*

Он отвернулся.

— *Работать не могу. С утра встаю — будто дым перед глазами. Всё серое. Люди говорят — проверься. Проверялся. Капли дали. Витамины дали. А мне всё как через копоть. Особенно вечером. Смотрю — и будто не здесь я.*

Марья слушала, не перебивая. Кот на печи снова открыл один глаз. За стеной вдруг коротко мыкнула корова или, может быть, в соседнем дворе скотина стукнула рогом о перегородку. Этот звук на мгновение вернул избу в простую жизнь: есть люди, есть животные, есть печь, есть мокрые сапоги у двери. Именно такая простота и держала здесь ритуал от превращения в красивую выдумку.

— *Когда началось?* — спросила Марья.

— *Не знаю.*

— *Знаешь.*

Он сжал пальцы на коленях.

— *После похорон.*

— *Чьих?*

Он посмотрел на стол, на хлеб, на воду, но не на Марью.

— *Отца.*

Печь тихо треснула. Полено внутри осело, и красный свет на мгновение стал глубже.

— *Отец умер — глаза замутило?*

— *Не сразу.*

— *А когда?*

Степан помолчал. Видно было, что он пришёл за помощью, но не хотел отдавать правду. Многие так приходят: тело уже кричит, а гордость ещё держит рот закрытым.

— *Дом пустой стал, — сказал он наконец. — Мать раньше умерла. Отец держался. Пока он был, вроде род есть, корень есть. А теперь всё. Я один. Брат в городе. Дети мои тоже уедут. Кому всё это? Дом, огород, земля, сарай? Всё гниёт. Смотрю — и не вижу смысла. Мутит.*

Марья не сразу ответила. Она взяла чашку с водой и поставила её ближе к лампе. Свет лёг на поверхность воды жёлтым пятном.

— *Не отец тебе глаза замутил.*

Степан усмехнулся зло.

— *А кто?*

— *Мы ещё не назвали.*

Он поднял на неё взгляд.

— *Опять ваши Виш?*

— *Наши, ваши...* — Марья чуть повела плечом. — *Виш не по фамилии приходит. Где человек глаза отводит, там он и стоит.*

Я почувствовал, как в комнате изменился воздух. Слово ещё не было произнесено полностью, но уже приблизилось. Степан напрягся. Плечи у него поднялись, пальцы сжались, взгляд ушёл вниз. Виш проявлялся не как тень в углу, как в моей детской ночи, а иначе: в тяжести его плеч, в серости лица, в злой усмешке, в том, что человек смотрел на воду, но не хотел увидеть там себя.

— *Я не боюсь, — сказал он вдруг.*

Марья спокойно посмотрела на него.

— *Кто сказал, что боишься?*

— *Ты так смотришь.*

— *Я смотрю, куда ты не смотришь.*

Он резко встал.

— *Я домой пойду.*

Марья не удерживала.

— *Иди.*

Он сделал шаг к двери. Я стоял у порога и невольно отступил, чтобы пропустить. Но Марья сказала мне:

— *Стоять.*

Я остановился. В груди поднялось смущение. Я оказался между человеком и дверью, как когда-то между женщиной и её желанием закрыть глаза. Только теперь передо мной был взрослый мужчина, злой, тяжёлый, и мне совсем не хотелось играть роль порога.

Степан посмотрел на меня.

— *Двинься.*

Я хотел двинуться. Почти уже сделал шаг. Но в этот момент в кармане холодно лег ключ. Я вспомнил бабушку Калю: «Если она глаза закроет, скажешь: смотри». Тогда я был ребёнком и сказал. Теперь я был взрослым и не мог выдавить даже простое «останься».

Это был второй мой Калинов мост в этой главе. Не дорога через овраг, а стыд перед чужим гневом. Страх быть не тем, кого ожидали. Страх вмешаться. Страх оказаться самозванцем.

Я не двинулся.

— *Я не держу вас, — сказал я. — Дверь за мной. Но если вы сейчас уйдёте, вы унесёте с собой ту же муть.*

Степан смотрел на меня долго. В его глазах была злость, но под ней — усталость. Такая усталость, которая уже не хочет спорить, но ещё не умеет просить.

— *Красиво говоришь, — сказал он.*

— *Я боюсь не меньше вашего, — ответил я.*

Эта фраза вышла сама, и от неё мне стало легче. Потому что я наконец перестал прикрываться плащом этнографа. Не полностью, нет. Но хотя бы на одно мгновение сказал не как исследователь, а как человек на той же дороге.

Степан медленно вернулся к столу.

Марья взяла полотенце, намочила край в воде и положила перед ним.

— *Первый круг простой, — сказала она. — Руки умой.*

— *Глаза же мутит.*

— *Руки сначала. Ты ими за всё держишься.*

Он опустил руки в миску. Вода дрогнула. На поверхности пошли круги. Его пальцы, большие, грубые, с тёмными ногтями, в воде вдруг стали беззащитными. Он тёр ладони неловко, будто впервые за долгое время делал не хозяйственное, а осознанное движение.

— *Теперь лицо.*

Он плеснул водой на лицо, резко, сердито.

— *Не бей себя, — сказала Марья. — Умойся.*

Он замер. Потом сделал мягче. Провёл мокрыми ладонями по щекам, по лбу, по векам. Закрыв глаза. Открыл. Моргнул.

— *Ничего.*

— *А кто тебе обещал сразу всё?*

Она велела ему взять полотенце и промокнуть глаза, не тереть. Это тоже было частью дела: не тереть, не давить, не воевать с мутью, а дать глазу прийти в себя. Потом Марья взяла хлеб, отломил маленький кусок и положила рядом с чашкой воды.

— *Хлеб видишь?*

— *Вижу.*

— *Какой?*

— *Чёрный.*

— *Не цвет. Какой?*

Он раздражённо посмотрел.

— *Обычный.*

— *Опять мимо.*

Он хотел сказать что-то резкое, но сдержался. Долго смотрел на хлеб. На корку, на мякиш, на трещину по краю.

— *Тёплый, — сказал наконец. — Пахнет печью.*

Марья кивнула.

— *Вот. Глаз начал не только муть видеть.*

Это был бытовой круг. Вода, руки, лицо, хлеб, полотенце. Ничего необычного. Но из этих простых действий Марья выводила Степана из серой безнадёжности в конкретность: рука, вода, хлеб, тепло, запах, свет. Внутренний Вий теряет власть, когда человек перестаёт смотреть на мир общим словом «всё плохо» и снова видит одну живую вещь.

Потом начался второй круг.

Страховой.

Марья села напротив Степана. Лампа стояла между ними, вода чуть сбоку, хлеб рядом. Я стоял у порога и чувствовал, как мокрая одежда тянет плечи вниз, как грязь на сапогах подсыхает у печного тепла, как холод ключа то отступает, то возвращается к груди.

— *Что ты на самом деле не хочешь видеть?* — спросила Марья.

— *Да всё я вижу.*

— *Нет.*

— *Дом пустой.*

— *Это видишь.*

— *Земля никому не нужна.*

— *И это видишь.*

— *Дети уедут.*

— *Может, уедут. Может, вернутся. Не это.*

Степан молчал. Потом резко сказал:

— *Не хочу видеть, что я последний.*

В избе стало тихо. Даже кот перестал бить хвостом по печи.

— *Последний кто?* — спросила Марья.

— *В доме. В роду. В этой земле. Отец умер, и будто всё на мне кончилось. Я смотрю на двор — и вижу не двор, а как он зарос. Смотрю на дом — вижу, как крыша провалится. Смотрю на детей — вижу, как они уедут и забудут. Я ещё живой, а уже всё похоронил.*

Марья долго молчала. Потом сказала:

— *Вот теперь он имя получил.*

Степан поднял глаза.

— *Кто?*

— *Вий обрыва. Малый Вий этих Врат. Он не про глаза твои. Он про то, что ты заранее видишь конец и веришь ему больше, чем живому.*

Я почувствовал, как эти слова ударили и во мне. Разве не то же самое я делал со своей дорогой? Пока бабки Кали не стало, пока ушли старики, пока деревни исчезали с карт, я тоже думал: всё оборвалось. Некому передавать. Нечего искать. Останутся только записи, архивы, примечания. Я тоже заранее похоронил живое, чтобы не идти туда, где оно могло неожиданно оказаться ещё живым и потребовать от меня не интереса, а участия.

Марья велела мне подойти.

— *Достань ключ.*

Я вынул ржавый ключ из ткани. На этот раз она взяла его двумя пальцами, но не присвоила, не забрала. Подержала над чашкой с водой так, чтобы его тень легла на поверхность.

— *Не в воду, — сказала она. — Над водой. Ключ не моют, пока он сам не попросит.*

Потом повернулась к Степану:

— *Смотри на тень ключа.*

Он смотрел.

Тень на воде дрожала от дыхания людей. Ржавая бородка ключа в отражении казалась длиннее, страннее, почти похожей на ветку или корень.

— *Что видишь? — спросила Марья.*

— *Ключ.*

— *Не ключ. Что видишь?*

Степан молчал.

— *Замок, — сказал он наконец. — Старый.*

— *Где?*

— *В отцовском доме. На сундуке. Он ключ потерял, а сундук всё равно не выбросил. Говорил, там документы, фотографии. Я после похорон хотел открыть, да не стал. Подумал — зачем? Всё равно прошлого не вернёшь.*

Марья медленно положила бабкин ключ на стол.

— *Вот где твой глаз стоит. Не в дыму. Не в мутном свете. У закрытого сундука.*

Степан побледнел.

— *При чём тут сундук?*

— *При том, что ты род похоронил, не открыв.*

— *Там старьё.*

— *Может. А может, имена. Может, лица. Может, твой отец оставил тебе не землю, а память, а ты её боишься открыть, потому что тогда окажется: ты не последний. Ты продолжение.*

Степан сжал кулаки.

— *Не надо.*

— *Надо.*

— *Не полезу я в мёртвые вещи.*

— *Они мёртвые, пока ты их не видишь.*

Это была середина ритуала, и она была тяжелее любых слов над водой. Потому что настоящий заговор не убаюкивает страх. Он подводит человека к месту, где страх стоит, и не даёт отвести взгляд. Степан сопротивлялся. Он злился, оправдывался, говорил, что устал, что ему завтра рано, что он пришёл из-за глаз, а не из-за сундуков и рода. Но Марья не спорила с ним как спорят люди. Она просто возвращала его к одному и тому же: что ты не хочешь видеть?

Наконец он выдохнул:

— *Я боюсь открыть и ничего там не найти.*

Марья кивнула.

— *Это правда.*

Он поднял глаза.

— *И что?*

— *Теперь можно читать.*

Она взяла чашку с водой, поставила её ближе к лампе, а бабкин ключ положила рядом так, чтобы ржавчина почти касалась белого полотенца. Потом попросила меня стать у двери и держать ручку, но не закрывать её на крючок.

— *Почему? — спросил я.*

— *Чтобы слово знало: выйти можно, убежать нельзя.*

Эта фраза снова вернула мне бабку Калю. У неё тоже всё было так: дверь, порог, вода, полотенце — не предметы, а участники. Я положил руку на дверную ручку. Железо было холод-

ное, несмотря на тепло избы. Снаружи темнел двор, внутри горела лампа, и я снова оказался на границе.

Марья начала читать.

Голос у неё был ниже, чем у бабки Кали, менее сухой, с хрипотцой, будто каждое слово проходило через дым, воду и долгую деревенскую зиму:

*Не дыму в очах стоять,
не обрыву род держать,
не пустому двору душу есть,
не закрытому сундуку память стеречь.*

*Вода видит дно,
хлеб помнит зерно,
ключ знает порог,
род знает того, кто пришёл.*

*Что умерло — земле.
Что осталось — слову.
Что закрыто — открыть.
Что забыто — назвать.*

*Глазу не хоронить живое,
сердцу не ставить крест раньше срока.*

Последнюю строку она произнесла так тихо, что я услышал только начало: «Кто родом смотрит...» — дальше слова ушли в воду. Я не стал ловить их. В этот раз уже понимал: не всё моё, что я услышал.

После заговора Марья не велела Степану сразу смотреть на лампу или проверять зрение. Она сделала иначе. Подвинула к нему хлеб.

— *Назови три живых вещи, которые ещё есть в твоём доме.*

Степан нахмурился.

— *Зачем?*

— *Назови.*

Он молчал долго. Сначала, видно, хотел отделаться общими словами. Потом понял, что здесь это не пройдёт.

— *Печь, — сказал он. — Она ещё держит.*

— *Дальше.*

— *Яблоня за баней. Отец сажал. Половина сухая, но одна ветка цветёт.*

— *Дальше.*

Он сглотнул.

— *Дочь. Она уехать хочет, но... когда смеётся, на мать похожа.*

На этих словах его лицо дрогнуло. Не заплакал, нет. Но что-то в глазах изменилось. Муть не исчезла. Она и не могла исчезнуть так просто. Но взгляд стал не таким плоским. В нём появилась глубина, а с глубиной — боль, которая уже не была только дымом. Она стала человеческой.

Марья кивнула.

— *Вот световой круг. Не чудо. Работа.*

Она велела ему взять хлеб, отломить кусок, съесть медленно и смотреть при этом не в стол, а на чашку с водой. Потом сказала:

— *Завтра до полудня откроешь отцовский сундук. Один не открывай. Позови дочь. Не брата из города, не соседа, не меня. Дочь. Что найдёшь — не выбрасывай три дня. И три утра подряд умывайся водой, в которой ночь простоял ключ от твоего дома. Не этот, — она кивнула на мой ржавый ключ. — Свой. Понял?*

Степан кивнул.

— *И семь дней не говори: «Я последний». Если язык просится — говори: «Я продолжаю». Даже если не веришь. Особенно если не веришь.*

Он молчал. Потом тихо спросил:

— *А глаза?*

— *Глаза пойдут за тобой. Ты сначала сам перестань смотреть в конец.*

Степан поднял взгляд на лампу. Моргнул. Потом на хлеб. Потом на Марью.

— *Свет... не такой грязный, — сказал он неуверенно. — Всё равно мутно. Но будто не давит.*

Марья не улыбнулась.

— *Не вспугни. Живое возвращается тихо.*

Она повернулась ко мне.

— *А ты записывать хотел?*

Я почувствовал, как краснею.

— *Хотел.*

— *Теперь знаешь, что записывать?*

— *Не всё.*

— *Мало. Не главное.*

Я ждал.

Марья взяла бабкин ключ и вернула мне. Потом коснулась пальцем рыжего пятна ржавчины, которое осталось на полотенце.

— *Записывай не слова первыми. Записывай, где стоял. Что держал. Когда промолчал. Где хотел соврать. Где хотел спрятаться за умное. Вот это и будет твоя запись. А слова... слова потом сами решат, какие можно.*

Она подошла к печи, сняла с гвоздя маленький матерчатый узелок и положила на стол. Узелок был старый, но крепкий, из выцветшей ткани. На нём грубой ниткой был вышит знак: что-то среднее между петлёй, листом и маленьким кривым ключом. Я не понял его, но внутри дрогнуло узнавание — не смысла, а направления.

— *Это мать оставила, — сказала Марья. — Для Калиного мальчишки. Сказала: когда придёт с ключом и хлебом, отдать. Раньше не отдавать.*

Я взял узелок осторожно. Он пах сухой травой, дымом и временем. Не подарок. Не сувенир. Знак пройденного порога. Внутри лежало что-то лёгкое, может быть трава, может быть пучок корешков, может быть записка, но Марья сразу остановила моё движение.

— *Сейчас не развязывай.*

— *Когда?*

— *Когда сам поймёшь, что не для любопытства.*

Степан всё ещё сидел за столом. Он уже не выглядел исцелённым, если ждать от исцеления сияния и счастливой развязки. Но он перестал быть человеком, который пришёл только жаловаться на муть. В его лице появилось тяжёлое решение. Завтра ему надо было открыть сундук. Позвать дочь. Увидеть то, что он заранее похоронил. И это было куда труднее, чем просто получить наговор от глазной усталости.

Я вдруг понял, что и мне завтра, послезавтра, весь дальнейший путь придётся делать то же самое: открывать сундуки, которые я сам назвал пустыми. Идти к людям, которых считал ушедшими. Слышать слова, которые нельзя просто присвоить. Отказываться от прямой дороги, когда земля говорит идти криво.

Марья налила мне чаю. Чай был тёмный, терпкий, с травой, которую я не узнал. Она не расспрашивала меня о городе, о книге, о планах. Сидела напротив, держала чашку двумя руками и смотрела на огонь в печи. Молчание в этом доме было не пустым и не неловким. В нём как будто дозревало то, что уже произошло.

Поздно ночью, когда Степан ушёл, унося с собой кусок хлеба, указание открыть сундук и свою ещё не рассеянную, но уже названную муть, Марья вывела меня в сени. Там было темно, сыро, пахло валенками, луком, старой шубой и дождём. Она открыла наружную дверь. За порогом стояла ночь. Двор блестел после дождя. Где-то в овраге шумела вода.

— *Дальше куда?* — спросил я.

— *А ты всё ещё думаешь, что я скажу прямо?*

Я не ответил.

Марья достала из кармана сложенную бумажку, но не дала мне в руки. Только показала на мгновение. На ней было старое название деревни, почти стёртое, написанное рукой, похожей на бабкину, но не её. Я успел прочитать только первые буквы и слово «порог». Потом Марья спрятала бумажку обратно.

— *Рано.*

— *Тогда зачем показали?*

— *Чтобы глаз знал, что дорога есть, а рука пока не хватала.*

Она подошла к косяку, провела ладонью по старому дереву и сказала:

— *Сегодня ты пришёл под плащом этнографа. Это ничего. Плащ нужен. Без него тебя многие не пустят, а ты сам не выдержишь. Только помни: плащ не кожа. Снимать придётся.*

Эти слова вошли в меня не сразу. Сначала я услышал только их внешнюю мудрость: не прячась за ролью. Но потом, уже на обратной дороге, понял глубже. Плащ этнографа был не ложью. Он был защитой, формой, пропуском в мир, где живое знание ещё могло согласиться говорить с человеком из города. Но если я забуду, что под плащом стоит Калин мальчишка с ржавым ключом, я превращу дорогу в добычу, а передачу — в материал.

Марья протянула мне узелок.

— *Это не подарок. Это напоминание.*

— *О чём?*

— *Что тебя узнали раньше, чем ты сам признался.*

Она помолчала и добавила:

— *Иди обратно не той тропой, которой пришёл. Утром увидишь след.*

— *Чей?*

— *Если скажу — не увидишь.*

Ночевать я остался у Марьи, на лавке возле печи. Сон пришёл не сразу. В доме потрескивали брёвна, в печи оседал жар, рыжий кот иногда прыгивал на пол и ходил по избе бесшумно, как тень с белым ухом. Я лежал, чувствуя под головой жёсткий свёрток одежды, а во внутреннем кармане — холод ключа, который не согревался даже возле печи.

Мне снился не сон даже, а дорога. Сначала прямая, широкая, удобная, уходящая в серый туман. Потом рядом с ней появлялась другая — кривая, мокрая, заросшая, почти незаметная. На развилке стояла бабка Каля. Она ничего не говорила. Только смотрела. А за её спиной, там, где начиналась кривая тропа, белела раздвоенная берёза, похожая на раскрытые Врата.

На рассвете я вышел во двор. Ночь вымыла землю. Воздух был сырой, холодный, но в нём уже стояло что-то живое, не городское, не комнатное. За забором, у самой калитки, в мягкой грязи действительно был след. Не человеческий. Маленький, раздвоенный, будто прошёл козлёнок или косуля. След вёл не к дороге, по которой я пришёл, а в сторону оврага, где между кустами белел мокрый берёзовый ствол.

Я долго стоял перед этим следом.

Можно было сказать себе, что это случайность. Можно было зарисовать его в блокнот, как любопытную деталь. Можно было сфотографировать, описать, объяснить. Но после этой ночи я уже знал: некоторые знаки не требуют немедленного толкования. Их надо не разбирать, а не потерять.

Я достал блокнот и написал только одно:

«Кривой Лог. Марья. Степан. Вий обрыва. Порог. Хлеб. Вода. Не записывать первым словом. Плащ не кожа».

Потом добавил ниже:

«След ведёт не туда, где удобнее».

Я не стал писать заговор полностью. Не имел права. Оставил место там, где закрытая строка ушла в воду. Это пустое место на странице оказалось важнее многих слов. Оно впервые показало мне меру: книга, которую я начал, не должна была стать раскрытым сундуком, из которого всё вытряхнули на стол ради любопытства. В ней нужно было оставить воздух, молчание, закрытые строки, потому что тайна, лишённая меры, превращается не в знание, а в мусор.

Когда я уходил, Марья стояла на крыльце. В руке у неё была чашка с водой. Она плеснула немного воды на порог, не мне вслед, а самому дому, будто закрепляя то, что произошло ночью.

— Благодарить после дела, — сказала она.

— А сейчас?

— Сейчас иди.

— Куда?

Она посмотрела на след у калитки.

— Туда, где мокрый лист сам тебя найдёт.

Я не понял. Но вспомнил узелок, который лежал у меня в сумке. Вспомнил вышитый знак. Вспомнил, как бабка Каля говорила: «Когда ключ заржавеет, дорога откроется». Теперь я видел: дорога открывается не сразу и не вся. Она приоткрывается ровно настолько, насколько человек готов выдержать. Сначала ключ. Потом хлеб. Потом порог. Потом чужой страх, который оказывается твоим. Потом узелок с непонятным знаком. Потом след в грязи, ведущий не туда, где удобнее.

Я вышел за калитку и пошёл к оврагу.

Солнце ещё не поднялось, но небо уже стало светлее. В мокрой траве дрожал серый рассвет. Деревья стояли неподвижно, словно слушали, какой шаг я выберу. За спиной оставался дом Марьи, чашка воды на столе, Степанова муть, названная своим именем, хлеб, отломленный перед лампой, и мой плащ этнографа, который за эту ночь не исчез, но стал тоньше. Я всё ещё нёс блокнот, ручки и вопросы. Я всё ещё должен был записывать, спрашивать, собирать, потому что без этого дорога растворилась бы в одном лишь тумане переживаний. Но теперь я знал: записывать можно только после того, как сам постоял у порога.

Так началась вторая часть моего возвращения.

Я вышел из Кривого Лога не тем человеком, который вошёл туда ночью. Не потому, что получил ответы. Ответов стало меньше, а вопросов — больше. Но теперь среди моих вещей был узелок с травой, оставленный матерью Марьи «для Калиного мальчишки», а среди моих страхов — первый названный Вий взрослой дороги: страх признать своё настоящее предназначение.

И пока я шёл вдоль оврага, где талая вода подмывала глину, а мокрые ветки цеплялись за рукав, мне казалось, что где-то впереди, ещё далеко, за деревьями, за распутицей, за исчезнувшими деревьями и недосказанными строками, лунная дорога уже делает следующий поворот.

Не прямой.

Кривой.

Живой.

Глава 3. Первый след лунной дороги

Дверь закрылась за моей спиной, и сразу стало ясно: обратной дороги в тот вечер уже не было.

Не потому, что за окном стояла ночь. Не потому, что до Верхней Кручи было несколько вёрст грязи, оврагов, мокрых кустов и кривой тропы, которая и днём, наверное, неохотно пускала человека обратно. Не потому, что сапоги мои стояли у порога тяжёлые, облепленные глиной, а мокрая куртка висела на деревянном крюке и медленно отдавала на пол дорожную воду.

Нет.

Обратной дороги не было потому, что в избе всё уже стояло на своих местах.

Чашка с водой.

Белое полотенце.

Порог.

Печь.

Мужчина у стола.

Рыжий кот на печи.

Марьины глаза, неподвижные и тёмные.

Ржавый ключ в моей руке.

Я вошёл сюда как человек, который ещё мог сказать: «Я приехал за фольклорными материалами». Мог бы даже произнести это уверенно, почти спокойно. У меня были блокнот, ручки, старые записи, память о бабке Кале, записки с названиями деревень, и всё это можно было сложить в удобное объяснение. Исследовательская поездка. Полевые материалы. Заговорная традиция. Исчезающие деревни. Народная память.

Но изба уже знала, зачем я пришёл.

И знала раньше меня.

В таких домах вообще трудно врать. Не потому, что кто-то разоблачает тебя словами, а потому, что сами стены, печь, порог, запахи, старые вещи и молчание людей заставляют человека слышать, как фальшиво звучат его собственные оправдания. Городская роль, такая крепкая на бумаге, здесь становилась тонкой. Плащ этнографа ещё был на моих плечах, но под ним уже проступало другое: тот мальчик, которому бабка Каля когда-то сунула в ладонь ржавый ключ и поставила у порога.

Марьей звали дочь Аксины, той самой знахарки, к которой бабка Каля когда-то водила меня ребёнком. Я почти ничего не помнил об Аксинье. Только что-то водяное, пороговое, холодное. Может быть, она держала воду. Может быть, стояла у двери и говорила бабке Кале: «Рано ему ещё». Может быть, это всё память досочиняла задним числом, потому что память любит достраивать мосты там, где в детстве остались только доски, туман и чужие голоса.

Но Марья помнила.

Она стояла у двери и смотрела на меня так, будто сверяла живого человека с давно оставленным словом. Не с фотографией, не с письмом, не с приметой даже, а именно со словом, которое когда-то было сказано и положено в этом доме, как кладут под порог железо, чтобы оно ждало своего часа.

— *Снимай верхнее, — сказала она. — В мокром у порога не стоят.*

Я снял куртку. Ткань была тяжёлая, холодная, напитанная дождём, мокрой глиной и запахом лесной дороги. Когда я повесил её на крюк, с нижнего края сорвалась капля, упала на половицу и сразу потемнела на дереве маленьким пятном. Марья заметила это, но ничего не сказала. Только чуть подвинула старую тряпицу ногой, чтобы вода не пошла к порогу.

Сапоги я оставил у двери. Пол под ногами был тёплый, но неровный: старые доски уходили волнами, словно дом много лет дышал вместе с землёй и постепенно принял её кривизну. В одном месте доска чуть подалась под ступнёй, в другом была гладкой, почти отполированной. На стене висели связки сухих трав. Они не просто пахли — они будто держали под потолком лето, сжатое, высушенное, перевязанное ниткой, чтобы оно не ушло окончательно за зиму. В углу стоял сундук с железными накладками. Железо на нём потемнело, но не проржавело до конца. Над печью сушились варежки. Откуда-то из подпола тянуло редькой, сырой картошкой, старым луком и яблочной кислинкой. Запах был такой плотный, что казалось, его можно разрезать ножом, и лезвие на мгновение станет влажным.

Рыжий кот на печи не спал.

Он смотрел на меня одним зелёным глазом. Второй был прищурен, будто он тоже оценивал, можно ли меня впустить дальше. Кот был худой, длинный, с белым ухом и старым надрывом на хвосте. Он лежал вроде лениво, но вся его неподвижность была настороженной. Такие коты в деревнях не бывают просто котами. Они знают скрип каждой доски, шаг каждого своего, чужой запах до того, как человек постучит, и тот холод, который иногда входит в дом вместе с живыми.

Мужчина за столом сидел неподвижно.

Он был крупный, плечистый, но в нём не чувствовалось силы. Вернее, сила была, но лежала где-то глубоко, придавленная, как бревно под мокрым снегом. На лице щетина. Под глазами серые мешки. Волосы мокрые от дождя или пота. Рубаха на груди помятая, ворот расстёгнут, будто ему не хватало воздуха. Пальцы толстые, тяжёлые, с короткими ногтями, лежали на коленях и время от времени едва заметно сжимались. Он смотрел на лампу, но не видел её по-настоящему.

Глаза у него были не слепые и не больные в обычном смысле. Они были занавешены.

Будто внутри человека кто-то зажёл дымную печь и забыл открыть трубу.

— *Это Николай, — сказала Марья. — Пришёл с мутью.*

Мужчина хмуро дёрнул плечом.

— *Не с мутью. С глазами.*

— *С глазами все приходят, — ответила Марья. — Только у каждого своё на них сидит.*

Он сжал губы. Скулы у него напряглись. На шее коротко дрогнула жила.

— *Мне бы не сидело, если бы ты раньше приняла.*

— *Раньше ты не пришёл.*

— *Я неделю назад приходил.*

— *Неделю назад ты хотел, чтобы я тебе сказала: «Пройдёт само». А сегодня ты хочешь, чтобы прошло.*

Мужчина опустил взгляд.

Я стоял у двери и чувствовал себя лишним. Не помощником, не участником, а человеком, который вошёл в чужую беду без спроса. Хотелось достать блокнот, спрятаться за запись, за привычную роль: наблюдаю, фиксирую, уточняю, записываю. Блокнот был бы удобной бронёй. Спроси имя, возраст, обстоятельства, местный вариант обряда, особенности текста. Можно было бы всё превратить в материал, в структуру, в будущую главу, в аккуратный фрагмент исследования.

Но Марья будто услышала мои мысли.

— *Бумагу не доставай.*

Я вздрогнул.

— *Я не собирался.*

— *Собирался. У тебя рука к сумке пошла.*

Я убрал руку.

Марья кивнула на стол.

— *Сегодня не записывать будешь. Сегодня держать будешь.*

Слово «держать» прозвучало почти так же, как когда-то у бабки Кали: «Порог держать». Оно не объясняло, а ставило на место. Есть слова, которые не раскрывают смысл сразу, но меняют положение тела. После них человек уже не может стоять где попало.

Я посмотрел на ржавый ключ в ладони.

— *Что держать?*

— *Порог. Ключ. Молчание. Что скажу.*

Николай поднял глаза.

— *А он кто вообще?*

— *От Кали.*

Мужчина посмотрел на меня внимательнее, будто имя бабки Кали прорезало муть.

— *От той самой?*

— *От той самой, — сказала Марья.*

— *Так она ж умерла.*

— *Вот потому он и пришёл.*

Эти слова легли между нами, как полено в огонь. Я почувствовал, что мне нужно что-то сказать, но не нашёл нужного. Что тут скажешь? Что умерла? Что не умерла? Что я сам не знаю, зачем пришёл? Что я, может быть, всю жизнь держался за разумную сторону дела, за объяснения, за исследовательский интерес, а теперь стою босыми ногами на старых досках в чужой избе, и ржавый ключ холодит ладонь?

Молчание оказалось лучше.

Марья подошла к столу, взяла чашку с водой и поставила её ближе к Николаю. Вода была тёмная от света лампы. На поверхности дрожал маленький огонёк. Вся изба, казалось, наклонилась к этой чашке: печь, стены, кот, старый сундук, я у двери, сам Николай, который старался смотреть куда угодно, только не в воду.

— *Рассказывай, — сказала Марья.*

Николай нахмурился.

— *Чего рассказывать? Глаза мутные. Утром встаю, всё как через дым. Вдаль плохо. Близко тоже плывёт. Голова тяжёлая. Врач сказал, проверяться надо. Я проверился. Сказали, ничего такого, чтобы прямо вот так. А я не вижу нормально. Особенно к вечеру. Будто кто плёнку на глаза кладёт.*

— *Когда началось?*

Он молчал.

— *Не когда глаза начали мутиться. Когда жизнь помутнела?*

Николай сжал кулаки на коленях.

— *Жена умерла.*

В избе стало тише.

Даже кот на печи перестал шуриться и открыл оба глаза. Печь будто на мгновение глубже втянула в себя воздух. За окном ветер провёл по стене мокрой веткой. Я почувствовал, как слово «умерла» не просто прозвучало, а легло на стол рядом с водой и хлебом. Некоторые слова тяжелее предметов.

— *Зимой? — спросила Марья.*

— *На Крещение. Лёд тогда треснул. Она воду носила. Не туда ступила. Её вытащили, но... — он не договорил.*

Марьино лицо не изменилось. Она только поставила чашку с водой на середину стола.

— *После того и муть?*

— *Не сразу. Сначала плакал. Потом перестал. Потом вроде жил. А весной понял: всё серое. Глаза как чужие.*

— *Ты её видел в воде?*

Он резко поднял голову.

— *Что?*

— *Когда вытащили. Видел?*

Николай побледнел.

Не просто стал бледнее. Вся кровь будто ушла у него внутрь. Губы посерели, пальцы на коленях сжались так, что костяшки побелели. Он посмотрел на Марию с таким выражением, словно она открыла дверь, за которой он держал не воспоминание, а живую зимнюю воду.

— *Видел.*

— *Вот и стоит.*

— *Кто?*

— *То, что увидел.*

Он отвернулся.

— *Не хочу об этом.*

— *А глаз хочет?* — *спросила Мария.*

Николай молчал.

— *Глаз не закрывается только потому, что ты не хочешь помнить. Глаз как дверь. Если за дверью мёртвое стоит, человек дверь занавесит. А потом жалуется: света мало.*

Мне стало не по себе.

Я вспомнил бабушку Калю и женщину, которая ждала мужа из леса, уже увидев его мёртвым в своём страхе. Тогда бабушка сказала: «Ты увидела страх и согласилась с ним». Здесь было другое. Николай увидел не только страх. Он увидел настоящую смерть. Увидел жену в воде. И теперь вода, свет, взгляд, память — всё смешалось в одну серую муть.

И я почувствовал, что мне хочется отступить.

Не телом даже. Внутренне. Вернуться в роль человека с блокнотом, который описывает, а не стоит у порога чужой утраты. Потому что настоящая смерть, вошедшая в глаза человека, не даёт красивой дистанции. Она сразу спрашивает: а ты сам куда смотришь? На что готов смотреть? Что ты уже похоронил заранее, чтобы не проходить через боль живого?

Мария повернулась ко мне.

— *Хлеб принёс?*

Я достал из сумки кусок чёрного хлеба, который дала старушка в автобусе. Он уже остыл, но всё ещё пах печью. Ржаная корка была плотной, тёмной, местами чуть треснувшей. В автобусе он казался просто дорожным даром. Здесь, на столе рядом с водой, он вдруг стал частью круга.

Мария взяла хлеб обеими руками, поднесла к лицу и тихо сказала:

— *Хорошо.*

Потом положила его на стол рядом с водой.

— *Зачем хлеб?* — *спросил Николай.*

— *Чтобы живое позвать.*

— *Я не голоден.*

— *Тебя не спрашивают.*

Она взяла ржавый ключ из моей руки. Но не сразу. Сначала накрыла мои пальцы своими. Руки у неё были сухие, тёплые, сильные. Она будто проверяла не ключ, а меня: дрогну ли, отдерну ли, пойму ли, что передаю не вещь, а своё согласие стоять там, куда поставят.

— *Клавдия этот ключ держала?*

— *Да.*

— *К векам тебе прикладывала?*

Я кивнул.

— *Значит, помнишь.*

— *Помню.*

— Тогда не врёшь.

Она взяла ключ, посмотрела на него и вдруг улыбнулась краем губ.

— Мать говорила: «Калин малый придёт с ржавым ключом, но сам будет думать, что по бумагам ходит».

Мне стало жарко, хотя в избе было не так уж тепло.

— Ваша мать знала?

— Старые люди много знали. Только не всё говорили.

Марья подошла к двери и опустилась на корточки у порога. Порог был высокий, стёртый, тёмный от времени. Дерево на нём отполировалось тысячами шагов: кто входил с радостью, кто с бедой, кто с молоком, кто с гробовой вестью, кто с ребёнком на руках, кто с пустыми руками и полным страхом внутри. Марья провела по порогу ладонью, будто гладила живое существо.

— Порог держит, что в дом входит и что из дома выходит. Через порог мёртвое не зовут. Через порог страх не выпускают без ключа.

Она положила ключ под порог. Не полностью, а так, чтобы круглая головка оставалась чуть видна из щели между досками. Металл лёг туда с тихим звуком, почти неслышным, но я почувствовал его в груди.

— Бородкой к улице, — сказала она. — Чтобы муть вышла.

Потом посмотрела на меня.

— Встань здесь. Левая нога в избе, правая к сеням. Ты сегодня между.

— Между чем?

— Между тем, что держит, и тем, что отпускает.

Я встал у порога. Так, как она сказала. Левая нога на тёплой доске избы, правая почти у холодной щели сеней. В спину тянуло сыростью. Лицом я смотрел на стол, воду, хлеб, Николая и Марью. Это положение было неудобным. Тело сразу хотело выбрать сторону: либо войти полностью в тепло, либо отступить в сени. Но Марья поставила меня именно между. И в этом «между» вдруг проявилась вся моя взрослая дорога: между этнографом и наследником, между записью и передачей, между страхом взять чужое и страхом признать своё.

— Если он глаза закроет? — спросил я, уже зная ответ.

— Скажешь: «Смотри».

— Только это?

— Только это. Если больше скажешь, слово собьёшь.

Николай усмехнулся нервно.

— Прямо как ребёнка.

Марья резко повернулась к нему.

— Перед смертью все дети. И перед светом тоже.

Он замолчал.

Она взяла белое полотенце, развернула его и положила Николаю на плечи. Полотенце было грубое, льняное, с красной полосой по краю. На нём уже были старые пятна, не грязные, а рабочие, как отметины службы. Потом Марья налила в маленькую деревянную ложку воды из чашки.

— Глаз мутится не от одной смерти, — сказала она тихо. — А от того, что человек на смерти остановился. Ты её в воде увидел и с тех пор дальше не пошёл.

Николай глухо сказал:

— А куда дальше?

— В жизнь.

Он усмехнулся, но лицо перекошилось.

— Без неё?

— С памятью о ней. Это разное.

Он закрыл глаза.

Я почувствовал, как под порогом будто что-то шевельнулось. Конечно, это мог быть сквозняк. Могла быть мышь. Могла быть доска, разбухшая от сырости. Но ладонь у меня сама сжалась.

— *Смотри, — сказал я.*

Николай открыл глаза. В них мелькнула злость.

— *Не командуй.*

— *Он не командует, — сказала Марья. — Он порог держит. Ты его сам позвал, когда пришёл.*

— *Я его не звал.*

— *Звал. Только не знал.*

Она зачерпнула ложкой воду, поднесла к его глазам, но не касалась. Вода в ложке дрожала. Огонёк лампы отражался в ней длинным жёлтым пятном. Николай смотрел не сразу. Сначала взгляд его бегал по краю ложки, по пальцам Марьи, по столу, по хлебу, по лампе. Он избегал воды так, как человек избегает лица того, кого обидел или потерял.

— *Смотри в воду.*

— *Не хочу.*

— *Поэтому и смотри.*

Николай посмотрел.

Марья не начала сразу читать. Она дала ему задержаться в этом взгляде. Тишина вокруг стала плотной. Печь потрескивала, но тише обычного. Кот на печи вытянул шею и смотрел вниз. За стеной где-то шевельнулась корова, коротко стукнула, и этот простой деревенский звук вдруг вернул телу опору: всё происходит не в сказке, не в тумане, а здесь, среди печи, стола, хлеба, скота, мокрых сапог и людей, которым всё равно завтра вставать, топить, кормить, жить.

Потом Марья начала говорить.

Не шептать, а говорить низко, почти ровно, с такой тяжестью, будто каждое слово надо было положить на своё место:

*Вода мёртвого взяла,
вода живого не держи.*

*Что утонуло — земле,
что осталось — свету.*

*Муть с глаза — за порог,
страх с сердца — за порог,
дым с памяти — за порог.*

*Не мёртвым глаз держать,
не горю век закрывать,
не страху свет гасить.*

Кто жив — глядит.

Кто любит — помнит.

Кто помнит — не тонет.

На словах «не тонет» Николай резко вдохнул, будто вода ударила ему в лицо.

Лампа качнулась.

В углу, возле печи, тень стала плотнее.

Я видел это уже когда-то. В детстве. У той женщины, что ждала мужа из леса. Но теперь тень была другой. Не просто тёмное пятно. Она казалась влажной. Холодной. Как одежда, вытащенная из проруби. И от неё пахло не дымом, а речной водой, илом, зимним льдом. Этот запах был невозможен в тёплой избе, где пахло луком, редькой, хлебом и печью. И всё же он был. Или не запах, а память запаха, вошедшая в комнату вместе с Николаем.

У меня свело пальцы на левой руке.

Марья не оборачивалась.

— *Видишь?* — *спросила она Николая.*

— *Не хочу.*

— *Видишь?*

— *Да.*

— *Что?*

Он задыхался часто. Грудь ходила тяжело, как у человека, который вынырнул из ледяной воды и не может сразу понять, где берег.

— *Воду.*

— *Её?*

Николай закрыл глаза.

В тот же миг под порогом ключ тихо стукнул о дерево. Или мне показалось. Но звук был такой явный, что я даже посмотрел вниз.

— *Смотри,* — *сказал я.*

Он открыл глаза, и теперь в них был не гнев, а ужас.

— *Её,* — *прошептал он.*

Марья подошла ближе. Положила одну руку ему на затылок, другую на плечо. Не мягко и не грубо. Так держат человека, который может броситься куда угодно — в крик, в бегство, в отрицание, в прежнюю муть.

— *Не зови мёртвую назад. И сам за ней не ходи. Смотри.*

— *Не могу.*

— *Можешь. Ты живой.*

— *Она там.*

— *Она в памяти. Не в воде. Вода уже отдала.*

Николай заплакал.

Не так, как плачут в кино или на похоронах. Без красивого звука. Просто лицо его сморщилось, будто сразу состарилось, и из глаз вдруг пошли слёзы. Тяжёлые, густые, давно не пущенные. Он пытался сдержаться, но не смог. Нижняя губа дрогнула, подбородок пошёл в сторону, плечи сначала поднялись, как от защиты, потом опали. Слёзы текли по щекам, смешивались с щетиной, падали на полотенце.

Марья не утешала.

Она не говорила: «Не плачь». В этом доме, видимо, знали, что «не плачь» иногда значит «не выходи». Она только держала его плечо и не давала ему провалиться обратно в ту воду, куда его взгляд уходил уже много месяцев.

Я стоял у порога, и в какой-то момент понял, что сам задержал дыхание. Мне было страшно не меньше, чем Николаю, только мой страх был другим. Я боялся увидеть, что моя дорога тоже связана с мёртвыми. С бабкой Калей, с Аксиной, с ушедшими хранителями, с деревнями, которых уже нет на карте. Я тоже мог сделать из этого муть: сказать, что всё исчезло, что поздно, что теперь можно только записывать остатки. Николай стоял у своей воды, а я — у своей. Его вода забрала жену. Моя — годы, людей, возможность получить прямую передачу. И если я не выдержу смотреть, лунная дорога превратится в красивую тему, а не в путь.

Марья кивнула мне:

— *Хлеб.*

Я взял кусок хлеба со стола.

— *Дай ему.*

Я подошёл. Ноги у меня были ватные. Левая ступня будто не хотела уходить с тёплой доски, правая всё ещё помнила холод сений. Подал Николаю хлеб. Он взял его двумя руками, будто не хлеб, а что-то очень хрупкое.

— *Откуси.*

— *Не могу.*

— *Живой ест.*

Он откусил. Маленький кусок. Долго жевал. Сначала почти механически, как человек, которому велели выполнить действие. Потом дыхание его начало меняться. Челюсть перестала дрожать. Он сделал ещё один вдох, уже глубже. Хлеб возвращал его в тело. Не в мысль, не в память, не в воду, а в простую живую тяжесть: рот, вкус, слюна, глоток, тепло.

Марья взяла чашку с водой и поставила её на пол у порога, прямо над тем местом, где лежал ключ.

— *Теперь говори, — сказала она.*

— *Что?*

— *Что видел.*

Николай смотрел на воду у порога. Теперь вода была не перед лицом, а ниже, у самой границы дома. Это было важно: страх уже не стоял перед глазами, он был поставлен туда, где должен выйти.

— *Её видел.*

— *И?*

— *Думал, она зовёт.*

— *А теперь?*

Он молчал. Долго. В этом молчании было много работы. Лицо его оставалось мокрым, глаза красные, но взгляд уже не метался. Он смотрел в одну точку, как человек, который пытается различить не образ, а правду под образом.

— *Теперь... будто не зовёт. Будто смотрит.*

— *Как?*

— *Спокойно.*

Марья закрыла глаза на мгновение.

— *Значит, мёртвое отошло от страха.*

Она взяла полотенце с его плеч, смочила край в воде и провела Николаю по векам. Раз. Второй. Третий. Каждый раз медленно, от внутреннего угла глаза к виску, будто снимала не слезу, а тонкую плёнку, через которую он смотрел на мир с той зимы.

Потом прочла уже тише:

*За порог — муть,
в дом — свет.*

*За порог — страх,
в сердце — память.*

*За порог — смерть,
в глаз — жизнь.*

Последнюю строку она почти не сказала. Я увидел только движение губ. И вдруг понял: не всё в заговоре предназначено для уха. Некоторые слова входят через тишину.

Николай долго сидел неподвижно.

Кот на печи прыгнул на лавку и подошёл к столу. Понюхал хлеб. Потом, вместо того чтобы стащить кусок, сел рядом с Николаем и стал смотреть в дверь. Это было странно и просто одновременно. Будто кот видел, куда должна выйти муть, и караулил не хлеб, а порог.

Марьяна рука легла на чашку с водой.

— *Что видишь теперь?*

Николай поднял голову. Посмотрел на лампу. На окно. На меня у порога. На Марью. Глаза его всё ещё были красные, мокрые, уставшие. Но в них появилась глубина. Не светлая радость, нет. Скорее место, куда снова мог войти свет.

— *Ярче, — сказал он тихо.*

— *Что ярче?*

— *Огонёк. И край стола. Раньше всё расплывалось.*

— *Муть ушла?*

Он помолчал.

— *Нет. Но... будто дышать стала.*

Марья кивнула.

— *Хорошо. Муть, которая дышит, уже не хозяйин.*

Она подняла чашку с пола и вынесла воду за дверь. Я не видел, что она сделала в сенях, но услышал, как вода плеснулась за порогом. Не резко, не с отвращением, а спокойно, как выносят то, что уже выполнило свою работу.

Когда она вернулась, ржавый ключ был у неё в руке.

Она не отдала его мне сразу. Сначала положила на стол рядом с хлебом. Металл казался темнее, чем прежде. Или это свет лампы изменился после ритуала.

— *Слушай, Николай. Три дня не говори: «Она утонула». Говори: «Она ушла». Это не одно и то же.*

Он кивнул.

— *Семь вечеров смотри на огонь. Не на воду. На огонь. И каждый раз говори: «Я живой, я помню, я не тону».*

Он снова кивнул.

— *На третий день принесёшь сюда воду. Не из реки. Из колодца. Речную пока не трогай.*

— *Почему?*

— *Потому что ты ещё не отличаешь воду памяти от воды страха.*

Николай закрыл лицо руками. Но теперь это был не жест бегства. Он просто устал. Человек, который долго держал внутри ледяную воду, после первого выдоха не становится лёгким. Он становится пустым, мокрым, живым и очень уставшим.

Марья повернулась ко мне.

— *А ты хлеб доешь.*

— *Я?*

— *Хлеб принёс ты. Значит, часть дороги твоя.*

Я взял кусок хлеба. Он был плотный, кислый, настоящий. Во рту сразу стало тепло. И почему-то именно в этот момент я почувствовал, что давно не ел. Не только сегодня. Давно не ел чего-то такого, что не просто кормит, а возвращает на землю. Хлеб был как знак, что все разговоры о духе, слове, Вии, Светозаре ничего не стоят, если человек не может вернуться в тело и принять простую живую пищу.

Николай поднялся. Пошатнулся. Я сделал шаг, чтобы помочь, но он сам удержался. Это тоже было важно. Ему не нужно было, чтобы его вынесли из собственного страха на руках. Ему нужно было самому сделать шаг.

— *Спасибо, — сказал он Марье.*

Она резко подняла руку.

— *Не сейчас. Благодарность после третьего дня. Сейчас иди и не оглядывайся у порога.*

Он повернулся к двери. Проходя мимо меня, задержался.

— *Ты правда от Кали?*

— *Да.*

Он посмотрел мне в глаза. Муть ещё была, но сквозь неё пробивалось что-то живое.

— *Я её не знал. Но отец говорил. Она людей возвращала.*

— *Откуда?*

Николай посмотрел на дверь.

— *Откуда они сами уходили.*

Он вышел.

Мы слушали, как он надевает сапоги в сенях, как скрипит дверь, как шаги уходят по мокрому двору. Потом калитка жалобно скрипнула и стихла. Но его уход не был уходом человека, который просто вышел из дома. По звуку шагов было слышно: он идёт медленнее, чем пришёл. Не потому, что слабее, а потому что теперь ему надо было не убегать от воды в себе.

В избе остались я, Марья, кот, печь, хлеб, лампа и ржавый ключ на столе.

Некоторое время никто не говорил.

Марьяна изба после ритуала не сразу стала обычной. Воздух ещё держал слова. Вода ушла за порог, но её холод будто оставался в щелях пола. Хлеб лежал на столе уже не дорожной пищей, а частью совершенного дела. Лампа горела ровнее. Кот вернулся на печь, но лёг не так, как прежде: передними лапами к двери, будто всё ещё охранял выход.

Потом Марья взяла ключ и протянула мне.

— *Теперь он не просто твой.*

Я принял его. Металл был тёплый.

Это было страннее всего. Ключ, который всегда охлаждал ладонь, теперь согрелся. Не горячо, не от печи, а так, как согревается предмет, побывавший в живом деле.

— *Почему?*

— *Потому что ты порог держал.*

— *Я почти ничего не сделал.*

— *Почти ничего и надо. Кто много делает, часто мешает.*

Она села напротив меня, устало потёрла переносицу. В этом жесте вдруг стало видно, что Марья не железная, не «хранительница» из сказки, не мудрая фигура без тела. Она была живой женщиной, которая устала, которая тоже несла свою часть дома, матери, умерших, приходящих людей, воды, порога, ночных просьб и чужих страхов. На висках у неё проступили тонкие жилки. Руки лежали на столе тяжело, пальцы чуть дрожали после ритуала.

— *Мать говорила: если придёт Калин мальчишка, не давай ему слова сразу. Пусть сначала увидит, как слово работает на чужой боли.*

— *Ваша мать знала, что я приду?*

— *Она знала, что дорога не кончилась.*

— *А Светозар?*

Марьяны глаза стали жёстче.

— *Не произноси его здесь громко.*

— *Вы знаете о нём?*

— *Все знают. Кто должен.*

— *Что это?*

Она усмехнулась.

— *Вот сразу видно городского. Думаешь, если назвал, значит, можно спрашивать.*

Я опустил глаза.

— *Бабка Каля говорила, что это главное слово.*

— *Главное не потому, что сильнее всех. А потому, что глубже всех.*

- Оно для зрения?
- Для света.
- Это одно и то же?
- Нет. Но без второго первое пустое.

Она взяла со стола узелок с травой. Тот самый, что был оставлен для меня. Узелок был маленький, из грубой серой ткани, перевязан чёрной ниткой. На нём действительно был вышит знак: тонкая ломаная линия, похожая то ли на ручей, то ли на трещину, то ли на дорогу, которая нарочно не хочет быть прямой.

- Это оставила мать. Сказала: «Отдашь, когда он принесёт ключ и хлеб».
- Что внутри?
- Не открывай пока.
- Почему?
- Потому что любопытство портит передачу.

Она положила узелок мне на ладонь поверх ключа.

- Это не амулет. Не украшение. Не память. Это первый след.
- След чего?
- Лунной дороги.

Я молчал.

Слова «лунная дорога» уже звучали во мне с детства, от бабки Кали, но до этой ночи они были почти красивым образом. Теперь они стали другим: мокрой тропой, хлебом из чужой корзины, ключом под порогом, слезами мужчины, водой, вынесенной за дверь, и узелком, который нельзя развязать из любопытства.

— Лунная дорога не на карте, — сказала Марья. — По ней не идут от деревни к деревне, как почтальон. Её находят по знакам. Иногда человек скажет. Иногда сон покажет. Иногда вещь запахнет не своим запахом. Иногда дорога сломается, и ты попадёшь туда, куда не собирался. Иногда годами ничего не будет. А потом одна фраза чужого человека откроет то, что ждало.

- И куда мне дальше?
- Марья улыбнулась.
- Вот этого я тебе не скажу.
- Почему?
- Потому что не знаю.

Я удивился.

- Но вы же...
- Что «я же»? Я не хозяйка дороги. Я только свой порог держу.

Она встала, подошла к печи, сняла с гвоздя сухой пучок травы и бросила его в огонь. Печь тихо хлопнула, и в воздух поднялся горький запах полыни. Этот запах сразу вошёл в память о бабке Кале. Не воспоминанием даже, а внутренней интонацией: не всё твоё, что ты услышал; не всё можно брать; не всё открывают сразу.

— Мать говорила: после порога он должен понять, почему слово нельзя брать без передачи. Но кто даст ему следующий ключ, не мне знать.

- А как искать?
- Не искать прямо.
- Это как?
- Слушать, куда страх смотрит.

Эта фраза вошла в меня странно. Не разумом. Где-то ниже, как входит холодная вода в сапоги, когда стоишь у родника и думаешь, что берег крепкий.

- Страх смотрит?
- Всё смотрит. Только человек думает, что смотрят одни глаза.

Она кивнула на узелок.

— *Будет сон. Или не будет. Будет человек. Или не будет. Главное, не беги за дорогой. Дорога сама подойдёт, когда ты перестанешь её торопить.*

— *А если не подойдёт?*

— *Значит, не дозрел.*

С этим трудно спорить.

Марьяна изба медленно успокаивалась после ритуала. Печь потрескивала. Кот вернулся на своё место и свернулся кольцом. Лампа горела ровно. На столе оставалась чашка, уже пустая. Вода ушла за порог. Муть ушла не вся, но сдвинулась. Я чувствовал это, хотя не мог объяснить.

— *Можно записать заговор?* — спросил я осторожно.

Марья посмотрела на меня.

— *Часть.*

— *Какую?*

— *Которую слышал.*

— *А последнюю строку?*

— *А ты её слышал?*

Я вспомнил движение губ. Тишину. То, что не прозвучало.

— *Нет.*

— *Значит, не записывай.*

— *А если восстановлю?*

— *Придумаешь. А придуманное слово может быть красивым, но пустым. Или опасным.*

Она пододвинула мне лист бумаги и старый карандаш.

— *Запиши не заговор. Запиши, что делал.*

— *Ритуал?*

— *Работу.*

Я начал писать.

«Ключ под порог. Бородкой к улице. Чашка воды на столе. Хлеб рядом. Исцеляемый смотрит в воду. Помощник стоит на пороге: левая нога в избе, правая к сеням. Если глаза закрывает, сказать одно слово: „Смотри“. Воду после ритуала вынести за порог. Три дня не говорить...»

Я остановился.

— *Что именно ему нельзя говорить?*

— *«Она утонула».*

— *А если у другого человека другое горе?*

— *Тогда другое слово. Запрет всегда по ране.*

Я записал: «Запрет всегда по ране».

Марья кивнула.

— *Вот это важнее текста.*

Потом она достала из сундука маленький свёрток. Сундук стоял в углу, с железными накладками, и когда Марья открыла его, по избе прошёл слабый запах старого полотна, сухих трав, пыли и времени. Она не рылась. Сразу знала, куда положена вещь. Развязала свёрток. Внутри лежала фотография: пожелтевшая, с обломанным углом. На ней стояли три женщины и ребёнок. Одна из женщин была бабка Каля. Я узнал её сразу: платок, сухое лицо, глаза, которые смотрят прямо сквозь время.

Рядом с ней стояла другая женщина, широкоскулая, плотная, с тяжёлой косой. Наверное, Аксинья. Между ними маленький мальчик в шапке, натянутой почти на глаза.

Я.

— *Мать хранила,* — сказала Марья. — *Говорила, пригодится.*

Я взял фотографию. Бумага была тонкая, шершавая. В груди вдруг стало больно. Не от грусти даже, а от того, что прошлое оказалось не прошлым. Оно лежало в чужом сундуке и ждало, пока я перестану думать, что всё исчезло.

— *Я этого не помню.*

— *Не всё, что важно, человек помнит головой.*

На обратной стороне фотографии было написано:

«Каля. Акси́нья. Малой. Пороговая вода».

И ниже, другим, более слабым почерком:

«Когда вернётся, не держать. Пусть идёт».

Я долго смотрел на эти слова.

— *Не держать, — повторила Марья. — Значит, я тебя не задерживаю. Можешь ночевать, если хочешь. Но дорогу твою я держать не буду.*

— *Куда она ведёт?*

Марья пожала плечами.

— *К Виям.*

— *Ко всем?*

— *Сколько выдержишь.*

— *А если не выдержу?*

Она убрала фотографию обратно в ткань, но потом передумала и отдала мне.

— *Тогда вернись. Дорога не любит гордых. Иногда человек возвращается не назад, а в себя.*

Я положил фотографию в блокнот.

— *Марья, а почему лунная?*

Она подошла к окну и посмотрела в ночь.

— *Солнечную дорогу все видят. Лунную видит тот, кто не боится темноты.*

За окном висела луна. Низкая, мутная, в мокром ореоле. Свет её лежал на дворе, на крапиве, на заборе, на следах Николая, уходящих от крыльца. Следы были тёмные, наполненные водой. Дождь уже начинал их размывать, но пока они ещё держались. Как держится страх после ритуала — уже не хозяин, но ещё виден.

— *Николай поправится? — спросил я.*

— *Если пойдёт дальше.*

— *Куда?*

— *В жизнь. Я же сказала.*

— *А глаза?*

— *Глаза любят живых.*

Эта фраза была почти жестокой, но в ней было больше милости, чем в утешении.

Глаза любят живых.

Я записал её.

Марья заметила и усмехнулась.

— *Вот это можешь записать.*

Потом она принесла мне миску горячей картошки, соль, лук и ещё хлеба. Мы ели молча. Картошка обжигала пальцы. Лук был резкий, сладковато-горький. Соль хрустела на языке. Я вдруг почувствовал такую усталость, будто не просто шёл по грязи, а много часов держал на плечах невидимый груз. Марья не расспрашивала меня о жизни, о работе, о городе. И я её не расспрашивал. В таких домах вопросы должны созреть, как тесто. Раньше времени их не ставят на огонь.

После еды она постелила мне на лавке. Принесла старое одеяло, пахнущее дымом и сухим сеном. Под голову дала свёрнутую овчину.

— *Спи. Только узелок под подушку не клади.*

— *Почему?*

— *Чужие травы чужие сны дают. Пока не твои.*

— *А куда?*

— *На стол. Рядом с ключом.*

Я положил ключ и узелок на стол. Рядом с ними лежал мой блокнот. Это уже было похоже на начало карты: ключ, узелок, фотография, первые записи. Но карта эта не имела привычных линий. Она состояла из предметов, запретов, недосказанных строк, мокрых следов и мест, где мне велели стоять.

Перед сном я спросил:

— *А если мне что-то приснится?*

Марья стояла у печи, снимала с крюка котелок.

— *Запомни первое, что увидишь после пробуждения. Не сон. Первое после сна. Это важнее.*

— *Почему?*

— *Сон ещё может врать. А первый взгляд после сна часто честный.*

Она погасила лампу.

Изба ушла в темноту. Только печь светилась красным нутром, и от этого стены казались живыми. Я лежал на лавке и слушал дом: как трещат дрова, как где-то внизу капает вода, как кот ворочается на печи, как ветер трёт ветки о стекло. Сначала я думал, что не усну. Слишком много было в теле: дорога, мокрая грязь, Николай, вода у порога, тёплый ключ, узелок на столе, фотография бабки Кали. Но сон пришёл сразу, как приходит не отдых, а продолжение пути другим способом.

И во сне я снова стоял у порога.

Но это был уже не Марьин порог. Не изба. Не дом.

Передо мной была дорога, залитая лунным светом. Она шла через мокрый луг. Трава была высокая, вся в росе, и каждая капля светилась маленьким глазом. Луг дышал холодом. Вдали стояла женщина в белом платке и держала в руках берёзовый лист. Лица её я не видел. То ли оно было скрыто туманом, то ли я ещё не имел права смотреть прямо.

Я хотел подойти, но между нами лежала вода. Не река даже, а полоса холодной росы, такая яркая, что казалась живой. Я сделал шаг и почувствовал, как мокрая трава касается щиколоток, хотя во сне на мне не было ни сапог, ни дороги за спиной.

Женщина сказала:

— *Утро боится того, кто ночь не прошёл.*

Я хотел спросить, кто она, но не смог.

Она подняла лист.

На нём был тот же знак, что на узелке: ломаная линия, похожая на кривую дорогу.

Потом всё исчезло.

Проснулся я от холода.

Не от печи, не от сквозняка. От света.

Утро было серое. Дождь закончился. В окне стоял туман, и за ним еле виднелся двор. На столе лежали ключ, узелок и блокнот. Рядом с ними, невесть откуда, лежал берёзовый лист.

Мокрый.

Свежий.

С каплей воды на середине.

Я сел.

Сначала мне показалось, что сон ещё не отпустил меня. Но лист был настоящий. Его край чуть загнулся. Жилка по середине была светлая, зелёная, живая. Капля воды держалась на поверхности и не скатывалась. В ней отражалось окно, серое утро и крошечная перевёрнутая изба.

Марья уже стояла у печи. Она не удивилась. Только повернулась, посмотрела на меня и на лист, как смотрят на вещь, которая пришла по расписанию, известному не людям, а дороге.

— *Первое что увидел?*

— *Лист.*

— *Значит, правильно.*

— *Откуда он?*

— *Спроси дорогу.*

Она поставила на стол чашку горячей воды. Пар поднялся тонкой струей и на мгновение коснулся берёзового листа. Капля дрогнула, но не упала.

— *Тебе к росе.*

— *К кому?*

— *Не знаю.*

— *Где искать?*

Марья пожала плечами.

— *Луг найдёшь. Или он тебя.*

— *И всё?*

— *А что тебе ещё? Адрес, паспорт, телефон?*

В её голосе мелькнула насмешка, но не злая.

Я посмотрел на лист. Капля на нём держалась, не скатывалась. В ней отражалось окно. И вдруг я понял, что этот лист был не ответом, а заданием. Не предметом для коллекции, не красивым знаком, который можно описать в книге, а первым следом после первого следа. След нельзя положить в карман и считать дорогой пройденной. По следу надо идти.

— *Это следующий ключ?*

— *Нет, — сказала Марья. — Это первый след после первого следа.*

Она подошла к двери, открыла её. В сени вошёл холодный утренний воздух. Пахло мокрой землёй, крапивой, дымом и чем-то свежим, почти невидимым. После ночи ритуала этот воздух казался не просто утренним, а промытым. Даже старая крапива у калитки блестела так, будто вспомнила лето.

— *Иди, Калин мальчишка.*

— *Сейчас?*

— *Лунная дорога днём не пропадает. Просто хуже видна.*

Я собрал вещи. Завернул ключ в ткань. Узелок положил во внутренний карман рядом с ним. Фотографию убрал в блокнот, между страницами, где были записаны «Запрет всегда по ране» и «Глаза любят живых». Берёзовый лист Марья завернула в чистую бумагу и отдала мне.

— *Не суши нарочно. Пусть сам решит, когда высохнуть.*

Я вышел на крыльцо.

Двор был мокрый. Крапива у калитки блестела. Следы Николая ещё виднелись в грязи, но дождь уже начал их стирать. Над деревней висел туман. Где-то далеко, за оврагом, кричала птица. Дом Марьи в утреннем свете выглядел меньше, чем ночью, но не проще. Ночь ушла, а порог остался. Печь уже не казалась таинственным сердцем, но из трубы всё ещё шёл тонкий дым, и в этом дыме было продолжение.

Марья стояла в дверях.

— *Помни, — сказала она. — Ты не за заговорами ходишь.*

— *А за чем?*

— *За теми, кто через них проходит.*

Я кивнул.

— *И ещё, — добавила она. — Когда увидишь человека с утренним страхом, не спеши лечить светом. Сначала дай ему росу. Свет без росы режет.*

Я хотел спросить, что это значит, но она уже закрывала дверь.

Калитка скрикнула за мной.

Я вышел на кривую дорогу, которая ночью привела меня в Кривой Лог. Теперь она вела обратно, но я уже знал: обратно не бывает. Только дальше другим кругом.

В кармане лежал ржавый ключ. Рядом с ним узелок Аксины. В блокноте была фотография бабки Кали. В бумаге лежал мокрый берёзовый лист. И где-то впереди, ещё невидимые, стояли Врата росы.

Я шёл по грязной дороге и чувствовал: лунная дорога действительно не на карте. Она шла через людей, страхи, вещи, сны, воду, хлеб, пороги и слова, которые нельзя украсть. Она не давала маршрута сразу. Она только оставляла следы. Один — в старой избе, где мужчина с мутными глазами впервые после смерти жены смог посмотреть на огонь и сказать не «она утонула», а «я живой, я помню, я не тону». Другой — на берёзовом листе с каплей воды, которая не скатывалась, будто ждала своего часа.

И это было больше, чем исцеление.

Это был знак, что дорога открылась.

Не вся.

Только первый след.

Но теперь я уже знал: если идти по нему прямо, он исчезнет. Если слушать, куда смотрит страх, он приведёт к следующим Вратам.

Глава 4. Слово, которое нельзя украсть

Березовый лист не высыхал три дня.

Я носил его в сложенной бумаге, в кармане блокнота, рядом с фотографией бабки Кали и записью о Кривом Логе. Лист был маленький, с тонкими зубчиками по краям, почти прозрачный, как кожа старого письма, которое много лет пролежало между страницами семейной книги и все равно не забыло, что когда-то было зеленым. На середине держалась капля. Я разворачивал бумагу утром, днем, вечером, осторожно, почти виновато, думая, что капля уже исчезла, впиталась, высохла, оставила только темное пятно. Но она лежала на листе живой и круглой, будто не хотела уходить, будто ее держала не влага, а чья-то воля.

Сначала я объяснял это просто. Бумага, должно быть, была сырая. Комната прохладная. Лист плотнее, чем кажется. Капля могла быть смолистой, смешанной с соком. Так рассуждает человек, который уже вступил на лунную дорогу, но все еще бережет на плечах плащ этнографа. Плащ этот был удобен. В нем можно было идти по деревням, задавать вопросы, делать записи, сверять варианты заговоров, спрашивать о местных поверьях, рассуждать о народной культуре, традиционной картине мира и исчезающей обрядности. В нем можно было даже не бояться, пока не замечаешь, что плащ становится тонким, как старая марля, и сквозь него уже проступает не профессия, а судьба.

После Кривого Лога я вернулся не сразу. Сначала ночевал в Верхней Круче у старого сторожа Михалыча. Он пустил меня в комнату при заброшенной конторе, где пахло мышами, керосином, сырой бумагой и печным дымом, въевшимся в стены еще с тех времен, когда там сидели бухгалтеры, считали зерно, спорили о нормах и ругались на мокрые валенки у входа. Ночью контора скрипела так, будто кто-то ходил по пустому коридору и проверял двери. Михалыч перед сном сказал: «Не бойся. Это не люди. Это дом вспоминает». И ушел к себе, шаркая тапками.

Я лежал на железной койке, под тяжелым колючим одеялом, и слышал, как за стеной ветер шуршит старыми бумагами. В кармане блокнота лежал березовый лист. Капля на нем не высыхала. Я уже не доставал его в темноте, но знал: она там. И от этого знания было тревожно, потому что вся моя разумная часть просила простоты, а дорога давала знаки, которые невозможно было положить в аккуратную папку с надписью «полевые материалы».

Потом я добрался до станции, потом до города, потом несколько дней сидел за столом и пытался привести записи в порядок. На столе лежали блокнот, фотография бабки Кали, ржавый ключ, узелок Аксины и лист. Я писал: «Ключ под порог, бородкой к улице». «Помощник стоит между избой и сениями». «Хлеб рядом с водой». «Запрет всегда по ране». «Глаза любят живых». Все было точно. Все было правильно. И все было мертво.

В этих записях не было Николая. Не было его серого лица, мокрых волос, сжатых кулаков, которые сначала держали горе, а потом вдруг не выдержали и разжались. Не было того, как тень у печи стала влажной и холодной. Не было хлеба, который он жевал так, будто заново учился быть живым. Не было Марьиного голоса, сухого, тяжелого, не ласкового и потому милосердного: «Не мертвым глаз держать, не горю век закрывать». И главное — в записях не было того, что произошло между словом и человеком.

А без этого заговор становился просто текстом.

Скорлупой.

На четвертый день пришло письмо. Обычный конверт без обратного адреса. Почерк неровный, женский, будто писали на колене или при плохом свете. Внутри лежал маленький листок бумаги, сложенный вчетверо. На нем было написано: «Если хочешь понять, почему слово нельзя брать без передачи, ищи Домну Сергеевну. Село Липовый Увал. Спросишь у тех,

кто свечи крутит. От Марьи». Ни объяснения, ни приветствия, ни подписи полностью. Внизу одна приписка: «Березовый лист не суши. Он еще не твой».

Я достал лист из блокнота. Капля все еще держалась. Теперь она казалась не водой, а вопросом, который нельзя стряхнуть.

Вечером я нашел на карте Липовый Увал. В отличие от Кривого Лога, село существовало. Дорога туда была, автобус ходил два раза в неделю, и на бумаге все выглядело проще. Но я уже знал: дорога на карте одна, а земля другая. И если карта обещает прямую линию, это еще не значит, что дорога пустит тебя прямо.

Автобус до Липового Увала был желтый, старый, с облупившейся краской на дверях и мутными окнами, по которым ползли следы прежних дождей. Ехали почти молча. За окнами тянулись поля, низкие перелески, сырые овраги, заброшенные фермы, черные остовы теплиц. Небо стояло низко. Ветер гнал по нему серые тучи, будто кто-то сдувал пепел с большого костра. В салоне пахло мокрой одеждой, резиной, соляркой и хлебом из чьей-то сумки. Я сидел у окна, держал блокнот на коленях и думал о фразе Марьи: «Слово нельзя украсть».

Казалось бы, странно. Слова ведь не лежат в сундуке. Их можно услышать, записать, запомнить, повторить, напечатать в книге, передать другому. Можно даже выучить наизусть и произнести с правильной интонацией. Но чем дальше я шел, тем яснее понимал: заговорное слово не равно звуку. Слово без передачи похоже на ключ без замка. Или на замок без двери. Или на дверь, за которой нет дома. Оно вроде есть, но войти через него некуда.

В Липовом Увале меня высадили у магазина. Магазин назывался «Березка», хотя берез рядом не было, только две старые липы, голые, с черными мокрыми стволами. На крыльце сидел пес и чесал ухо, делая это с таким сосредоточенным достоинством, будто сторожил не лавку, а границу. Из трубы соседнего дома шел дым. В воздухе пахло сырым сеном, навозом, печным угаром и сладковатым тестом. Село не встречало меня как гостя. Оно просто смотрело.

Внутри магазина было тепло, тесно и душно. Пахло хлебом, селедкой, хозяйственным мылом, резиновыми сапогами и восковыми свечами. За прилавком сидела полная женщина в синем халате. Она пересчитывала мелочь и не сразу подняла глаза. Когда я спросил Домну Сергеевну, монеты в ее пальцах перестали звенеть.

— *А зачем?*

— *Свечи, — сказал я, сам не зная, почему выбрал это слово.*

Женщина посмотрела внимательнее.

— *Покупать или крутить?*

Я вспомнил письмо: «Спросишь у тех, кто свечи крутит».

— *Крутить.*

Она медленно положила монеты в коробку.

— *Ты не местный.*

— *Нет.*

— *От кого?*

Вот опять. В этих местах не спрашивали паспорт. Не спрашивали профессию. Не спрашивали тему исследования. Спрашивали, от кого. Человек без «от кого» был как слово без передачи: вроде звучит, а пути за ним нет.

— *От Марьи из Кривого Лога.*

Женщина прищурилась.

— *А дальше?*

Я помолчал. Плащ этнографа снова захотел лечь на плечи: сказать о фольклоре, о записях, о научном интересе. Но после порога Марьи эти слова стали слишком легкими.

— *От Клавдии Ивановны. От бабки Кали.*

Ее лицо изменилось едва заметно. Не удивилось, не смягчилось, просто стало внимательнее.

— *Так бы сразу и сказал. Домна у старой школы живет. Дом с зелеными ставнями. Только сейчас она не одна.*

— **В смысле?**

— *Там баба одна пришла. Сама начиталась. Теперь трясется.*

Она махнула рукой в сторону окна.

— *Пойдешь, увидишь. Только если Домна скажет молчать, молчи. Она не любит умных.*

— **А этнографов?**

Женщина посмотрела на меня с сухой насмешкой.

— *Особенно.*

Старая школа стояла на краю села, длинная, деревянная, с заколоченными окнами. Рядом с ней был дом с зелеными ставнями. Краска на ставнях облупилась, но цвет еще держался, густой, травяной, будто лето упрямо не хотело уходить из дерева. У крыльца висели пучки сухой липы. На подоконнике стояли маленькие глиняные горшки, и в каждом торчала свеча. Не горела, просто стояла, как будто дом смотрел не окнами, а свечами.

Я постучал. Дверь открылась быстро.

Женщина, стоявшая на пороге, была старше Марьи, но моложе бабки Кали в моей памяти. Лицо широкое, спокойное, лоб высокий, глаза светлые, почти бесцветные. На ней был темный платок, завязанный низко, и серый фартук, весь в восковых пятнах. Руки блестели от воска; не грязные, не липкие, а именно рабочие, как у человека, который постоянно имеет дело с мягким, горячим и капризным веществом.

— **Ты к кому?**

— *К Домне Сергеевне.*

— *Я Домна.*

— *От Марьи.*

— *Знаю.*

Она даже не спросила, откуда знает. Отступила и сказала:

— *Заходи. Только не шуми. Тут слово напугано.*

Я вошел, и уже в сенях понял, что в этом доме все устроено не для красоты, а для точности. На лавке лежали свертки фитилей, миска с водой, нож, несколько мотков суровой нити. На гвозде висел передник, затвердевший от воска. В углу стояло ведро, накрытое белой тканью. Пахло воском, сухими липовыми цветами и старым дымом. Этот запах не просто входил в нос — он оседал на языке, на пальцах, на памяти.

В комнате было полутемно. Окна занавешены белой тканью. На столе стояли свечи: тонкие, толстые, кривые, еще мягкие, будто только родившиеся из тепла. У стены горела одна свеча в медном подсвечнике. Пламя было маленькое и ровное. На печи лежал серый кот, похожий на свернутый ком старой золы. Он не спал. Когда я вошел, он открыл один глаз, посмотрел и снова прикрыл, будто решил: этот пока не главный.

На стуле у печи сидела женщина лет тридцати пяти, может, сорока. В дорогом городском пальто, явно не деревенском, но пальто было расстегнуто, ворот измят, платок сбился. Лицо бледное, губы сухие, под глазами синеватые тени. Она держала на коленях тетрадь. Пальцы вцепились в нее так, будто тетрадь могла убежать. Глаза были испуганные, блестящие, воспаленные от бессонницы. Она подняла их на меня и тут же отвела, как человек, который боится любого свидетеля.

— *Это кто? — спросила она.*

— *Тот, кто будет держать свечу, — сказала Домна.*

— *Мне чужие не нужны.*

— *Тебе и свои-то не помогают.*

Женщина вздрогнула, но промолчала. Домна повернулась ко мне.

— *Сумку оставь. Бумагу не доставай.*

Я уже привык к этому приказу, но каждый раз он попадал в одно и то же место. Бумага была моей защитой. Без нее я становился не исследователем, а человеком у чужого огня.

— *Хорошо.*

— *Хорошо будет, если выдержишь.*

Она взяла со стола тонкую свечу, еще теплую, не до конца затвердевшую, и дала мне.

— *Держи обеими руками. Не наклоняй. Пламя должно стоять ровно.*

— *Она не зажжена.*

— *Пока нет.*

Женщина у печи нервно засмеялась.

— *Вы меня пугаете еще больше.*

Домна посмотрела на нее спокойно.

— *Ты сама себя напугала. Я только покажу чем.*

Женщина сжала тетрадь.

— *Я ничего плохого не делала.*

— *Делала.*

— *Я молилась.*

— *Нет.*

— *Читала заговор.*

— *Нет.*

— ***А что?***

Домна подошла к ней и выдернула тетрадь из рук. Женщина ахнула, как будто у нее отняли ребенка. Домна раскрыла тетрадь. Листы были исписаны аккуратным почерком. В некоторых местах слова подчеркнуты красной ручкой. На полях пометки: «читать 3 раза», «на воду», «перед зеркалом», «на растущую луну». Все выглядело старательно, почти ученически. Но от тетради почему-то тянуло холодом, как от мокрой одежды, которую забыли у порога.

— *Ты читала чужое слово без спроса.*

— ***Оно было записано!***

— ***И что?***

— *Если записано, значит, можно читать.*

Домна закрыла тетрадь не резко, но так, что звук лег на стол, как печать.

— ***Кто дал?***

— *Нашла у бабушки.*

— ***Бабушка тебе передавала?***

— *Нет. Она умерла.*

— *Значит, не дала.*

— ***Но я же ее внука!***

— *Кровь не заменяет передачи.*

Женщина побледнела еще сильнее. Ее звали Лидия. Она хотела помочь себе: глаза стали плохо видеть, все плыло, особенно после чтения. Ночью она просыпалась от ощущения, будто кто-то стоит у кровати. В зеркало смотреть не могла. Свечи гасли. Глаза болели. Она не спала. Чем больше она говорила, тем сильнее было видно: страх жил не только в глазах. Он сидел в плечах, в шее, в пальцах, в этом судорожном желании доказать, что она имела право.

— *Какой читала? — спросила Домна.*

Лидия молчала.

— ***Какой?***

— *На ясный глаз.*

— ***Перед зеркалом?***

Лидия кивнула.

— ***Одна?***

— Да.

— **Без воды?**

— Там не было написано про воду.

Домна усмехнулась без радости.

— Конечно. Потому что тот, кто записал, скорлупу записал. А вода была в руках у дающей.

В комнате стало очень тихо. Свеча в медном подсвечнике дрогнула, хотя окна были закрыты. Домна положила тетрадь на стол, между собой и Лидией, и повернулась ко мне.

— Вот поэтому ты здесь. Хотел понять, почему слово нельзя украсть? Смотри.

Я держал незажженную свечу обеими руками. Воск был мягкий, теплый. От него пахло медом и дымом. Домна поставила горящую свечу на стол и велела Лидии сесть напротив. Потом кивнула мне: встать слева, держать свечу на уровне груди, не наклонять, не суетиться, не думать за других. Последнее она не сказала вслух, но я услышал именно так.

— Хочешь уйти? — спросила Домна.

Лидия кивнула.

— Вот он.

— **Кто?**

— Вий самовольного слова.

У меня по спине прошел холод. Домна произнесла это слово совсем буднично, но воздух вокруг него уплотнился. Это не было чудовищем. Не было тенью с лицом. Вий встал не у стены, а в самой Лидии: в ее сжатой челюсти, в отказе признать ошибку, в боли человека, который всю жизнь учился никого не просить.

— Он не страшный снаружи, — сказала Домна. — Он стоит внутри и говорит: «Возьми быстрее. Прочитай сама. Никого не слушай. Тебе должны. Ты имеешь право». А потом, когда дверь открыта, он же говорит: «Бойся».

Лидия закрыла глаза.

— Не закрывай.

Она открыла. Пальцы ее побелели.

Домна протянула мне горящую свечу.

— Зажигай.

Я поднес свою свечу к пламени. Фитиль сначала задымил, потом вспыхнул маленьким огоньком. Воск под пальцами стал теплее. Пламя было слабое, неуверенное. Мне хотелось прикрыть его ладонью, но Домна сказала:

— Не прячь. Свет, который сразу прячут, сам себя боится.

Она взяла тетрадь двумя пальцами, как берут вещь опасную, но не презрительно, а осторожно. Открыла на странице, где было написано: «На ясный глаз». Я невольно попытался прочитать. Глаз сам прыгнул к строкам, как воробей к зерну.

Домна резко захлопнула тетрадь.

— Не воруй глазами.

Мне стало стыдно.

— Я не хотел.

— Хотел. Глаз быстрее совести. Следи.

Эта фраза ударила сильнее, чем замечание. Глаз быстрее совести. Я опустил взгляд на пламя своей свечи, и в этот миг понял: Лидия пришла сюда не одна. Ее Вий зацепил и меня. Я ведь тоже хотел взять: услышать, записать, понять, систематизировать, сделать книгу, владеть материалом. Красиво, бережно, глубоко — но владеть. А здесь слово требовало не владения, а поклона.

Домна положила ладонь на тетрадь.

— *Лидия, слушай. Заговор не наказывают за то, что его украли. Он просто не работает как надо. Как нож в детской руке. Нож не виноват. Ты открыла чужую дверь и ушла. Теперь надо вернуться и закрыть ее правильно.*

Она взяла миску с водой из сеней и поставила рядом со свечой. Потом положила на тетрадь кусок чистого белого полотна. Лидия смотрела на все это так, будто каждый предмет сейчас обвинит ее. Домна не торопилась. Она дала воде успокоиться, дала пламени выровняться, дала молчанию стать достаточно плотным, чтобы в него можно было положить слово.

— *Ты будешь читать не заговор. Ты будешь читать отказ от самовольного слова.*

— **А зрение?**

— *Сначала страх снимем. Потом глаз сам вспомнит, куда смотреть.*

Домна кивнула мне:

— *Пламя ближе.*

Я поднес свечу к столу. Тень от моей руки легла на тетрадь. Лидия смотрела на эту тень так, будто боялась, что она поднимется. Домна начала говорить, и голос ее был не громкий, но тяжелый, как теплая вода в глиняном кувшине:

*Не беру чужого слова,
не держу чужой двери,
не зову без передачи,
не читаю без руки.*

**Что взяла без спроса — возвращаю,
что открыла страхом — закрываю,
что напугала в глазу — отпускаю.**

*Слово к слову,
путь к пути,
страху уйти,
глазу свет принять.*

Лидия повторяла за ней. Сначала тихо, почти неслышно. Потом чуть громче. На словах «не читаю без руки» голос ее сорвался, как нитка, которую слишком долго тянули.

Домна остановилась.

— **Почему сорвалось?**

— *Не знаю.*

— *Знаешь.*

Лидия сжала руки.

— *Я не хотела просить.*

— **Кого?**

— *Никого. Я сама хотела. Всю жизнь сама. Никому не должна. Никого не ждать. Ни у кого не просить.*

Домна кивнула.

— *Вот твой Вий.*

— **Самостоятельность?**

— *Гордая сиротливость.*

Лидия вздрогнула, будто ее ударили. В комнате стало тесно от этих слов. Они были не красивыми, не мягкими, не утешительными. Но они попали точно туда, где страх держал ее взгляд.

Я держал свечу. Пламя дрожало. Воск стекал на пальцы, горячий, липкий. Мне хотелось поправить руку, но я боялся сбить ритуал. И вдруг понял, что мой собственный Калинов мост проходит не где-то потом, не у большой реки, не в финале пути, а здесь: в этой комнате, среди воска и чужого стыда. Мне нужно было выдержать не боль на пальцах, а признание, что я тоже пришел к слову с жадным глазом.

Домна, не глядя на меня, сказала:

— *Видишь? Не только у нее.*

Я едва не уронил свечу.

— **Что?**

— *Самовольное слово цепляет всех, кто думает, что может взять без поклона.*

Она взяла мою руку со свечой и подвела ближе к Лидии.

— *Теперь ты скажешь только одну строку.*

— **Я?**

— *Ты держишь пламя. Значит, скажешь.*

Домна произнесла медленно:

— *Слово не беру. Слово принимаю.*

Я повторил. Голос мой сначала вышел чужим, сухим, слишком правильным. Домна посмотрела так, что я понял: не годится. Тогда я сказал еще раз, уже не для записи, не для будущей книги, не для красивого смысла, а для себя, для этой свечи, для бабки Кали, которая когда-то приложила ключ к моим векам.

— *Слово не беру. Слово принимаю.*

Лидия смотрела на пламя. В ее глазах отражалась маленькая желтая точка.

— *Теперь ты, — сказала Домна.*

Лидия прошептала:

— *Слово не беру. Слово принимаю.*

— *Еще раз. Не как ученица. Как человек.*

Лидия вдохнула. Плечи ее опустились. Совсем немного, но в этом было больше правды, чем во всех прежних объяснениях.

— *Слово не беру. Слово принимаю.*

И тут свеча в моих руках выпрямилась. Пламя стало ровным, высоким, почти неподвижным. Даже воск перестал капать. Домна сняла белую ткань с тетради, взяла ее и поднесла к пламени. Я подумал, что она сожжет тетрадь, но она не стала. Только провела ею над огнем так, чтобы бумага прогрелась, но не загорелась.

— *Не все чужое надо жечь, — сказала она. — Иногда его надо остудить.*

Она положила тетрадь рядом с миской воды.

— *Лидия, три дня эту тетрадь не открывать. На четвертый день отнесешь ее на могилу бабушки. Не читать. Не просить. Просто скажешь: «Если хотела передать — дай знак. Если нет — пусть слово останется с тобой».*

Лидия заплакала, но уже тише. Глаза ее все еще были воспаленные, но в них появилась усталость вместо паники. Это было хорошо. Паника рвет человека на куски, а усталость иногда возвращает его в тело. Домна смочила пальцы водой и провела Лидии по векам. Не как врач. Не как знахарка из ярмарочного рассказа. А как женщина, которая знает: глаз нельзя дергать из страха силой. Его можно только вернуть к месту, где человеку не страшно принять помощь.

— *Сегодня спать без зеркала. Завесишь. Свечу погасишь не дыханием, а мокрыми пальцами. И три дня не произносить: «Я сама». Поняла?*

Лидия попыталась улыбнуться сквозь слезы.

— **А что говорить?**

— *«Я принимаю помощь».*

Лидия опустила голову.

— *Это труднее.*

— *Потому и лечит.*

Она встала. Ноги ее дрожали, но взгляд уже не метался. Она взяла тетрадь, прижала к груди, кивнула и вышла в сени. Мы слышали, как она долго одевалась, как звякнула ручка двери, как ступени крыльца скрипнули под ее ногами. Потом все стихло.

Я продолжал держать свечу. Только когда Домна разрешила, я поставил ее на стол. Пальцы были в застывшем воске. Домна взяла нож и аккуратно сняла его с моей кожи.

— ***Горячо было?***

— *Было.*

— ***Почему молчал?***

— *Вы сказали держать.*

— *Вот теперь можешь слушать дальше.*

Комната после ухода Лидии стала просторнее. Пламя обеих свечей горело ровно. За окном серело, хотя день еще не кончился. Сквозь ткань на окнах свет входил мягкий, рассеянный, почти молочный. Домна села напротив меня, устало провела большим пальцем по краю стола, где были старые следы от ножа.

— ***Понял, почему слово нельзя украсть?***

Я не ответил сразу. Хотел сказать: потому что текст без передачи может открыть не то. Хотел сказать: потому что записанное слово без человека становится пустым. Хотел сказать: потому что есть право, а есть знание. Но все это было только частью.

— *Потому что украденное слово не знает, куда ему идти, — сказал я наконец.*

Домна кивнула.

— *Уже ближе.*

Она взяла со стола погасшую спичку и переломила ее пополам.

— *Запись — это след ноги на снегу. По нему можно понять, что человек прошел. Но нельзя пройти вместо него.*

Потом она достала с полки маленький круглый сверток. Развернула. Внутри лежала восковая свеча, совсем короткая, почти огарок. Воск был темный, медовый.

— *Это тебе.*

— ***Огарок?***

— *Не огарок. Недогоревшая передача.*

Она положила свечу мне на ладонь.

— *Мать Марьи знала воду. Я знаю свечу. Но тебе пока свеча не как огонь, а как мера.*

— ***Мера чего?***

— *Сколько света можно держать, не обжигая другого.*

Я молчал. Это был не ответ. Это был нож, которым надо было самому отрезать лишнее.

Домна разрешила записать только открытое: «Чужое слово без передачи пугает глаз». «Кровь не заменяет передачи». «Глаз быстрее совести». «Слово не беру. Слово принимаю». «Книга дает первый круг. Второй через действие. Третий через страх. Четвертый через молчание». Заговор Лидии она не дала целиком. Только несколько строк. Остальное было для нее.

После этого она велела мне остаться до вечера. Не из гостеприимства. По делу. Мы крутили свечи. Вернее, она крутила, а я учился держать фитиль, размягчать воск, не торопиться, не давить слишком сильно. Работа была простая, но требовала внимания. Если потянешь нить резко, свеча выйдет кривая. Если пожалеешь силы, развалится. Если перегреешь воск, он поплывет. Если остудишь раньше времени, не схватится.

Сначала я думал, что это просто ремесло. Потом понял, что Домна продолжает ритуал уже со мной. Она ничего не объясняла, но каждая моя ошибка становилась видимой. Стоило мне поспешить — свеча морщилась. Стоило отвлечься на будущие записи — фитиль уходил в сторону. Стоило захотеть сделать красиво — воск ложился неровно.

— *Вот и передача такая,* — сказала Домна будто между прочим. — Ни горячей дурью, ни холодной записью. Между.

К вечеру пальцы мои пахли воском. Этот запах вьелся в кожу, и я еще долго потом чувствовал его, открывая блокнот. Воск стал для меня запахом четвертой главы моей дороги: запахом меры, ответственности, невысказанной строки.

Когда я собрался уходить, Домна проводила меня до сеней. На крыльце лежал мокрый снег. Село темнело, окна загорались одно за другим. Где-то лаяла собака.

— *Домна Сергеевна, а вы знали бабушку Калю?*

— *Видела один раз.*

— *Когда?*

— *Давно. Она приходила к моей матери. Не за свечой. За молчанием.*

— *За молчанием?*

— *Есть такие вещи, которые даже ведун должен у кого-то помолчать.*

Я представил бабушку Калю, строгую, сухую, почти неsgiбаемую, сидящую в чужой избе и молча принимающую то, что нельзя взять силой. И вдруг она стала для меня еще живее. Не всемогущей. Не сказочной. Настоящей.

— *Она говорила обо мне?*

Домна открыла дверь. Холодный воздух вошел в сени.

— *Говорила.*

— *Что?*

Домна посмотрела прямо на меня.

— *Что ты долго будешь путать знание с правом. Это разные вещи. Знать слово еще не значит иметь право его держать.*

Она вложила мне в руку маленький огарок свечи.

— *Иди. Луг сам найдетcя. Но помни: к росе нельзя приходить с жадным глазом.*

Я вышел. Снег падал на лицо и сразу таял. Дорога через село была темная, мокрая, с редкими лужами, в которых отражались окна. В кармане лежали ржавый ключ, узелок Аксины, березовый лист, липовый цвет и огарок Домны. Каждый предмет был маленьким, почти ничтожным. Но все вместе они уже тянули карман вниз, будто я нес не вещи, а целую невидимую карту.

У магазина «Березка» стояла та самая женщина в синем халате. Она курила под навесом.

— *Нашел?*

— *Нашел.*

— *Домна ругалась?*

— *Учила.*

— *Значит, ругалась.*

Она посмотрела на мои руки.

— *Воском пахнешь. Тогда дальше тебе не сюда.*

— *А куда?*

— *Весной за селом луг бывает белый по утрам. Дети туда не ходят. Говорят, трава глаза открывает. Может, врут. А может, нет. За старой пасекой, через низину. Но сейчас рано. Роса настоящая будет, когда ночь станет мягче.*

— *Когда?*

— *Кто ж росу по календарю ищет?*

Она бросила окурок в снег.

— *Жди.*

Это слово оказалось самым трудным. Ждать. Не искать сразу. Не бежать. Не собирать адреса. Не дергать людей. Не открывать тетради. Не пытаться ускорить лунную дорогу.

Я вернулся домой и стал ждать. Прошла неделя. Потом другая. Потом почти месяц. Березовый лист наконец высох, но капля не исчезла полностью. На ее месте осталось светлое круглое пятно. Огарок Домны лежал рядом с ключом. Иногда я доставал его и нюхал: пахло воском, липой и едва уловимым дымом.

Я писал записи, но все чаще понимал: книга, которую я собирался написать, должна быть не сборником заговоров. Она должна быть книгой передач. Книгой людей, через которых слово проходило. Книгой страхов, которые держали веки. Книгой Виев, которых надо не убить, а выдержать.

И однажды утром, когда я почти перестал ждать, пришел знак. Не сон. Не письмо. Не голос. Просто во дворе, на стекле машины, на траве у дома, на перилах крыльца лежала первая настоящая роса. Ночь была теплая, мягкая, без ветра. Мир выглядел так, будто его кто-то вымыл перед рассветом.

Я вышел на улицу. В кармане лежал березовый лист. И вдруг от него пошел запах. Свежий. Зеленый. Легкий. Запах мокрой травы.

Я понял: Врата росы открылись.

Часть II. Карта помрачений

Вий не закрывает глаза снаружи.

Он держит веки изнутри.

Эта часть открывает невидимую карту.

На поверхности всё выглядит просто: человек плохо видит, боится света, мутно смотрит, не может читать, щурится, отворачивается от зеркала, устаёт, теряет ясность. Но старые ведуны знали: иногда между глазом и миром стоит не только болезнь, не только усталость, не только возраст. Иногда там стоит страх.

В народе это называли по-разному: испуг сел на очи, морок лёг, туман в глазах, взгляд погас, свет не принимается. Современный человек ищет другие слова, но суть остаётся древней: страх может менять сам способ видения. Не всякая тьма приходит извне. Иногда она поднимается изнутри.

Здесь появляется Вий.

Не как сказочный уродец из страшной повести, а как великий образ внутреннего стража. Вий — видящий. Тот, кто видит сквозь века. Тот, кто держит веки там, где человек боится увидеть правду. Его нельзя убить. Его нельзя прогнать криком. Его можно только распознать, выдержать и превратить в силу.

В этой части автор получает карту малых Виев. Каждый страх имеет свои Врата. Каждый страх по-своему затемняет взгляд. Каждый предмет на столе ведуна становится не вещью, а знаком будущего испытания: вода, зеркало, свеча, зола, нить, ключ, гвоздь, мёд.

Теперь дорога становится последовательной.

Не просто путешествие по деревням, избам и старым людям.

А спуск в глубину человеческого взгляда.

Глава 5. Когда страх держит веки

Роса открыла дорогу, но не сразу повела к лугу.

Так часто бывает на лунной дороге: знак приходит ясный, почти детский по своей простоте, а путь после него вдруг становится ещё темнее, будто сама дорога проверяет, не перепутал ли человек знак с указателем. Человек думает: теперь всё понятно, теперь надо идти туда, где трава по утру белеет от влаги, где рассвет поднимается из низины паром, где листья дрожат на тонких стеблях и каждая капля держит в себе маленькое перевёрнутое небо. Он уже готов искать луг, старую пасеку, женщину, у которой дети не плачут на рассвете, готов идти по мокрой траве, наклоняться к земле, слушать, как просыпается мир.

Но лунная дорога не любит прямых выводов.

Она улыбается без губ и ведёт совсем в другую сторону.

Я ждал луга.

А пришёл человек.

Это случилось на девятый день после первой росы. За эти девять дней я успел несколько раз решить, что всё понял, и столько же раз убедиться, что понял только верхний слой. Каждое утро я выходил во двор ещё до света и смотрел на траву, на перила, на стекло машины, на влажный след ночи, как человек, который ищет в мире не погоду, а знак. Роса появлялась, исчезала, ложилась неровно, иногда держалась на железе дольше, чем на листьях, иногда пропадала так быстро, что её можно было принять за случайную влажность воздуха. Я носил в кармане высохший берёзовый лист со светлым круглым пятном посередине, и это пятно тревожило меня больше, чем сама капля, пока она была живой. Капля была чудом, которое можно было рассматривать. Пятно было вопросом, который уже нельзя было потрогать.

Утром девятого дня я проснулся рано, ещё до света. Комната стояла в той серой неподвижности, которая бывает между ночью и утром, когда вещи ещё не вернули себе дневные названия. Стол, стул, книги, стекло окна, блокнот, лампа — всё было на месте, но всё как будто ждало, каким именем я сегодня это назову. Окно мутнело от ночной влаги. За стеклом город ещё не шумел в полный голос; где-то далеко прошла машина, и её звук не ехал, а плыл, как под водой. В доме потрескивали трубы, на батарее тихо щёлкнул металл, и от этого маленького городского звука я вдруг вспомнил деревенскую печь у бабки Кали, когда дрова под утро уже не горели, а дышали красным нутром.

На столе лежали мои предметы. Ржавый ключ бабки Кали, завёрнутый в старую ткань, но всё равно словно просвечивающий своим холодом сквозь неё. Узелок Аксиньи, грубый, серый, с ломаным знаком, похожим на дорогу, которая не хочет быть прямой. Огарок Домны, тёмно-медовый, пахнувший воском, липой и той мерой, которую нельзя записать до конца. Высохший берёзовый лист со светлым кругом на середине, как маленький глаз, переживший воду. Липовый цвет в бумаге, почти невесомый, но упорно напоминающий о доме с зелёными ставнями. Эти вещи уже не были сувенирами, доказательствами или полевыми находками. Они лежали как молчаливые свидетели: ты был там, ты держал, ты видел, ты не до конца понял.

Я открыл блокнот и на первой чистой странице написал: «Врата росы».

Рука остановилась.

Слова не пошли. Не потому, что их не было, а потому что они вдруг оказались преждевременными. Я смотрел на заголовок, и вместо луга передо мной поднималась совсем другая вереница лиц. Лидия из дома Домны, бледная, с воспалёнными глазами, с тетрадь, в которую она вцепилась так, будто та могла заменить ей передачу. Николай из Кривого Лога, большой, серый, словно заложённый дымом изнутри, жующий хлеб так, будто заново учился оставаться живым. Женщина из моего детства, та самая, что ждала мужа из леса и уже увидела его мёртвым в собственном страхе. Они были разными, их боли не походили одна на другую, но все

трое словно смотрели через одну и ту же невидимую преграду. Не стеклянную. Не дымную. Живую.

И тогда я понял: прежде чем идти к росе, надо понять не росу.

Надо понять страх.

Не общий страх, не удобное слово из книг и разговоров, не красивую тень, которую можно поставить рядом с мистикой и сразу получить глубину. Нет. Надо понять тот самый страх, который садится на глаза, держит веки, перекрывает свет, хотя сам глаз ещё может быть цел. Страх, который не всегда кричит, не всегда темнит, не всегда пугает образом. Иногда он приходит белым, ровным, почти чистым. Иногда он становится занавесом, за которым человек прячется от одного лица, а теряет весь мир.

В этот момент в дверь постучали.

Три раза.

Не звонок, не современное торопливое треньканье, а именно стук: короткий, сухой, старый. Так стучат не в квартиру, а в избу, где сначала надо спросить у порога, пустит ли он слово внутрь.

Я открыл.

На пороге стоял мужчина лет шестидесяти пяти, высокий, худой, в тёмной куртке, старой вязаной шапке и сапогах, на которых подсохшая грязь лежала не городской пылью, а тяжёлой земляной коркой. Лицо у него было вытянутое, сухое, с резкими скулами и носом с горбинкой. Глаза светлые, почти прозрачные, но не слабые. Очень внимательные. Такие глаза бывают у людей, которые смотрят редко, потому что лишнего взгляда не тратят, но если уж смотрят, то попадают туда, куда человек сам себе смотреть не решается.

В руках он держал небольшую матерчатую сумку, потёртую на углах, с завязанной верёвкой вместо застёжки. От него пахло холодным воздухом, сухим табаком, старой кожей и какой-то травой, долго пролежавшей в темноте, не свежей, не аптечной, а той, что сохнет под крышей сарая и набирает в себя не запах, а память.

— Ты Калин? — спросил он.

Я уже не удивлялся этому вопросу так, как в первые дни дороги. И всё равно внутри сжалось, будто старое имя коснулось не уха, а груди.

— От Клавдии Ивановны, — сказал я.

— Значит, Калин.

Он произнёс это без сомнения, словно имя, фамилия, профессия и городская жизнь были только верхним слоем, а настоящее определялось тем, кто когда-то приложил тебе к векам ржавый ключ.

— Вы кто?

— Мне Домна велела к тебе зайти.

— Домна Сергеевна?

— Она. Сказала: «Он к росе собрался, а страх ещё не разобрал». Вот я и пришёл.

Он вошёл без приглашения, но не нагло. Просто так, как входят люди, которым дорога уже разрешила переступить порог. Снял шапку, провёл ладонью по редким седым волосам, оглядел комнату, стол, предметы, раскрытый блокнот. На ключ посмотрел дольше всего. Не взял, не потянулся, только задержал взгляд.

— Ржавый дошёл, — сказал он.

— Вы знали бабушку Калю?

— Видел. Один раз. Хватило.

Он сказал это без улыбки, но в голосе его была не сухость, а уважение, какое бывает у людей, переживших встречу не с человеком даже, а с мерой, по которой потом приходится сверять всю жизнь.

— Как вас зовут?

— Для записи?

— Как хотите.

Он усмехнулся краем губ.

— *Записывать будешь потом. Зови меня Егором Лукичом.*

Он сел к столу, но не так, как садятся в гостях. Сначала оглядел стул, будто проверил, не чужое ли место занимает, потом положил сумку рядом, ладонь оставил сверху. В этом жесте было что-то сторожевое: не прятал, но и не раскрывал. Как будто внутри лежали не вещи, а маленькие двери, и каждая могла открыться только в своё время.

— Ты думаешь, зрение в глазах? — спросил он.

— Думаю, не только.

— Уже лучше. Но мало.

Я промолчал. Он снял с шеи старый шарф, сложил его аккуратно, неожиданно бережно для таких сухих рук, и только потом продолжил:

— Глаз — это окно. Хорошее, хитрое, живое окно. Но человек может окно занавесить. Может заложить досками. Может грязью замазать. Может поставить перед ним икаф, а потом ходить и жаловаться, что солнца нет. И самое трудное — он часто сам не помнит, когда это сделал.

Егор Лукич взял берёзовый лист со стола. Держал его не пальцами этнографа, который рассматривает находку, а ладонью старика, проверяющего, не остыла ли вещь. Посмотрел на светлое пятно, где когда-то держалась капля.

— Роса тебя зовёт, но рано. Сначала поймёшь, почему свет не входит.

— Из-за страха?

— Не всегда. Но часто страх первым ставит руку на веки.

Он поднял свою сухую ладонь и медленно поднёс её к собственным глазам, не касаясь. Движение было простое, почти бытовое, но от него в комнате стало теснее. В этом движении не было нападения. Скорее удержание. Странная, страшная забота.

— Вот так, — сказал он. — Не снаружи. Изнутри.

За окном ещё не рассвело. Серое стекло держало в себе слабую влагу ночи. Город шумел далеко, а комната вокруг нас всё сильнее теряла городскую оболочку. Казалось, под обоями проступают бревенчатые стены, за батареей дышит печь, а за дверью не лестничная клетка, а тёмные сени, где надо не бежать.

— У нас говорили: испуг сел на очи, — произнёс Егор Лукич. — Или морок лёг. Или Вий веки держит. Теперь по-другому называют: психосоматика, функциональная слепота, нервное расстройство, реакция на потрясение. Названий много. Суть старая. Бывает, глаз цел, нерв цел, сосуды целы, а человек не видит.

Он постучал пальцем по столу, но не резко, а так, будто проверял плотность дерева.

— Почему? — спросил я.

Егор Лукич посмотрел почти сердито, но сердился он не на меня, а на лёгкость самого вопроса.

— Потому что видеть больше, чем не видеть.

Эта фраза была простой, но после неё утренний воздух стал холоднее. Я почувствовал, как во мне что-то пытается отступить в привычное объяснение: стресс, защитная реакция, психика, симптом. Но все эти слова в ту минуту оказались слишком гладкими. Они не держали тяжести.

— Человек думает, что хочет света, — продолжал Егор Лукич. — А сам боится увидеть то, что свет покажет. Старость. Болезнь. Смерть. Потерю. Свою вину. Своё одиночество. Чужую правду. Свою пустоту. Вот Вий и встаёт. Не как враг. Как сторож. Говорит: «Раз ты смотреть не готов, я подержу веки».

— Значит, Вий защищает?

— *Иногда. Иногда душиит. Страж и тюремщик часто одна и та же должность. Всё зависит от того, кто перед ним стоит.*

Он развязал сумку. Верёвка под его пальцами не сразу поддалась, и он не дёрнул, не рассердился, а терпеливо распустил узел, будто и узлы, и страхи не любят резких рук. Внутри лежали несколько вещей: чёрная тряпица, маленькая деревянная миска, старые очки с треснувшим стеклом, моток серой нити и плоский камень, тёмный, гладкий, словно его долго гладила речная вода. Он выложил их на стол по одному. Каждый предмет ложился с тихим звуком, и от этих звуков в комнате стало ещё тише.

— *Сегодня увидишь.*

— *Что?*

— *Как страх держит веки.*

В дверь снова постучали.

На этот раз стук был совсем другой: быстрый, неровный, почти сбивчивый. Так стучит человек, который ещё держится, но уже не знает, сколько выдержит.

Егор Лукич не повернулся.

— *Открывай.*

Я открыл.

На пороге стояли две женщины. Старшая — в коричневом пальто и тёмном платке, с красным от ветра лицом, мокрыми ресницами и руками, которые никак не могли найти себе места: то прижимали сумку к груди, то тянулись к молодой, то снова отступали. Вторая была совсем молодая, лет двадцати двух, может быть, чуть больше. Худенькая, в светлой куртке, с длинными волосами, выбившимися из-под шапки и прилипшими к щекам. Она держалась за руку старшей женщины, как ребёнок, хотя была уже взрослой. В этом жесте не было каприза. Только последняя нитка, которой человек привязывает себя к миру, когда сам мир исчезает.

Её глаза были открыты.

Но она смотрела так, будто ничего не видела.

Зрачки двигались, веки моргали, лицо поворачивалось на звук, но взгляд не цеплялся ни за меня, ни за дверь, ни за свет в комнате. Он проходил мимо предметов, не наружу, а внутрь, будто перед глазами у неё стояла плотная белая стена, ровная и безжалостная.

— *Егор Лукич, — сказала мать. — Опять не видит.*

Молодая не плакала. Это было страшнее слёз. Она была бледная, почти прозрачная, губы посинели, пальцы впились в материнскую руку так крепко, что костяшки побелели.

— *Когда? — спросил он.*

— *Ночью. Проснулась и говорит: «Мам, свет включи». Я включила. А она: «Не включился». А свет горит. Всё горит. Она рукой перед лицом водит и не видит.*

Девушка прошептала:

— *Я вижу белое.*

Голос у неё был почти детский, но не от слабости. Так говорит человек, который боится громким голосом разрушить последнюю опору.

— *Всё белое? — спросил Егор Лукич.*

— *Не всё. Иногда тёмное. Но лиц нет. Предметов нет. Только будто молоко перед глазами.*

— *Имя?*

— *Аня, — быстро ответила мать.*

Егор Лукич даже не повернул головы.

— *Сама скажет.*

Девушка чуть подняла подбородок, словно слово имени тоже надо было найти в белой пустоте.

— *Аня.*

Егор Лукич посмотрел на меня.

— *Вот тебе не книжка.*

Я понял, что сейчас снова не буду записывать. И, странное дело, уже не потянулся к блокноту. Во мне всё ещё жила привычка фиксировать, но рядом с Аней она стала неприличной. Записывать можно было потом. Сейчас надо было стоять так, чтобы не мешать происходящему.

— *Что мне делать?* — спросил я.

— *Сначала стул поставь. Спиной к окну.*

Я поставил стул посреди комнаты. Дерево скрипнуло под моей рукой. Аня села осторожно, как садятся на край лодки, не зная, качнётся ли она. Мать осталась рядом, всё ещё держала её за руку.

— *Руку отпусти,* — сказал Егор Лукич.

— *Она боится.*

— *Поэтому и отпусти. Страх через руку тоже держится.*

Мать побледнела, будто у неё попросили не руку отпустить, а саму дочь. Но отпустила. Аня сразу потянулась обратно, пальцы её сделали в воздухе беспомощное хватательное движение, похожее на движение слепого птенца.

— *Не хватайся,* — тихо сказал Егор Лукич. — *Ты не падаешь.*

Она замерла. Я видел, как дрожат её пальцы, как напряжена шея, как плечи подняты почти до ушей. Всё тело Ани стало одним вопросом: где мир, если я его не вижу?

— *Что с ней было?* — спросил Егор Лукич у матери.

Та замаялась. Я уже узнавал это «ничего такого», которое люди ставят перед правдой, чтобы она не вошла слишком быстро.

— *Ничего такого.*

— *Мне не «ничего» надо. Мне когда испугалась.*

Мать закрыла глаза, и лицо её стало старше.

— *На остановке. Три дня назад. Вечером. Мужик пьяный пристал. Кричал. Схватил её за рукав, потом за плечо. Она вырвалась, убежала. Не бил. Но испугалась очень. Ночью плакала. Потом вроде прошло.*

— *Не прошло,* — сказал Егор Лукич. — *Ушло в глаза.*

Аня сидела неподвижно, но на словах матери губы её задрожали.

— *Я думала, он за мной идёт,* — сказала она. — *Даже дома. Даже когда дверь закрыта. Всё время кажется, что сейчас войдёт.*

— *Видела его лицо?*

Она вздрогнула так, будто лицо это действительно оказалось рядом.

— *Да.*

— *Теперь видишь?*

— *Нет.*

— *Вот.*

Егор Лукич повернулся ко мне.

— *Понял?*

— *Она не хочет видеть его лицо?*

— *Не только его. После такого испуга человек иногда отрезает весь мир, чтобы не видеть одного. Глаз цел, а проход закрыт. Белое перед глазами — это не свет. Это занавес.*

Он взял деревянную миску и налил воды из графина. Вода была обычная, городская, мёртвая на вид, без колодезной глубины и речного холода. Но когда Егор Лукич положил на дно тёмный камень, вода сразу изменилась. В ней появился центр. Появилась тяжесть. Маленькое дно внутри миски стало похоже на речное место, где можно не утонуть, а увидеть.

— *Ты, Калин, будешь стоять за её спиной. Не касайся, пока не скажу.*

Я встал за Аней. От неё пахло мокрыми волосами, холодной улицей и слабым аптечным запахом — наверное, мать чем-то поила её ночью, чем-то мазала виски, пыталась вернуть зрение всеми обычными способами, которые человек хватается в панике. Этот запах вдруг болезненно напомнил мне городскую беспомощность: таблетки, капли, телефоны, советы, бессонные поиски ответа, когда беда уже сидит в доме.

— *Мать, к стене.*

— *Я рядом постою.*

— *К стене.*

В голосе Егора Лукича не было грубости, но спорить с ним стало невозможно. Мать отошла к стене и прижала руки к груди. На лице её было такое напряжение, будто это она сидит на стуле и видит белое.

— *Аня, глаза не закрывай.*

— *Я и так ничего не вижу.*

— *Не закрывай.*

Он поставил миску с водой ей на колени. Аня вздрогнула от тяжести миски, от холода дерева, от близости воды.

— *Видишь воду?*

— *Нет.*

— *Видишь свет?*

— *Белое.*

— *Хорошо. Белое тоже можно раздвинуть.*

Он взял серую нить и протянул мне один конец. Нить была грубая, шершавая, в ней чувствовалась не фабричная гладкость, а овечья память. Другой конец он оставил у себя. Нить прошла над правым плечом Ани, не касаясь её. Между мной и Егором Лукичем возникла тихая граница, тонкая, почти смешная для постороннего глаза, но я вдруг почувствовал, что по этой нити комната разделилась на до и после.

— *Это что? — спросил я.*

— *Граница. Пока она не видит мира, мир должен знать, где она.*

Он закрыл треснувшее стекло старых очков чёрной тканью и положил очки на стол перед Аней.

— *Эти очки носил человек, который ослеп от страха? — спросил я.*

— *Нет. Человек, который притворялся зрячим, когда уже ничего не хотел видеть. Не отвлекайся.*

Я замолчал. В ту минуту мне стало стыдно за сам вопрос: я снова пытался превратить вещь в объяснение, а надо было держать место.

Егор Лукич начал говорить с Аней очень тихо, почти буднично:

— *Ты сейчас дома?*

— *Да.*

— *Дверь закрыта?*

— *Да.*

— *Он здесь?*

Она молчала.

— *Он здесь?*

— *Не знаю.*

— *Вот и Вий.*

Аня напряглась. Мать у стены шевельнулась, но Егор Лукич поднял ладонь, не глядя.

— *Кто? — прошептала Аня.*

— *Тот, кто держит белое. Он говорит: «Лучшие не видят никого, чем снова увидеть опасность». Он думает, что спасает тебя. Но если будет держать дальше, ты останешься за занавесом.*

— *Я не хочу.*

— *Тогда смотри.*

— *Куда?*

— *В белое.*

Аня начала плакать. Слезы текли по лицу, но взгляд оставался пустым. Эти слёзы были странными: тело уже плакало, а глаза ещё не вернулись к миру. Егор Лукич сказал мне:

— *Правую руку ей на плечо. Легко. Не дави.*

Я положил руку ей на плечо. Она вздрогнула, но не отстранилась. Плечо было худое, напряжённое, как ветка под мокрым снегом. Я почувствовал под ладонью не только дрожь, но и усилие, с которым человек удерживает себя на границе видимого и невидимого.

— *Когда кивну, скажешь: «Ты здесь». Только это. Не утешай, не объясняй, не жалея голосом.*

Я кивнул.

Он опустил пальцы в воду, провёл ими над камнем и начал шептать. Сначала слов почти не было слышно. Шёпот шёл ниже слуха, как вода под коркой льда. Потом отдельные строки стали проступать, будто тропа в тумане:

*Не белой стене стоять,
не испугу глаз держать,
не чужому лицу весь мир закрывать.*

*Страх пришёл — увидели,
страх сел — подняли,
страх держит — отпустили.*

*Глаз не один,
за глазом род,
за родом свет,
за светом жизнь.*

Он кивнул.

— *Ты здесь, — сказал я.*

Аня всхлипнула. Под моей ладонью плечо её дёрнулось, но она не закрыла глаза.

Егор Лукич продолжал:

*Не тот идёт,
кого боишься.*

*Не тот стоит,
кого помнишь.*

*Дверь закрыта,
дом стоит,
сердце бьётся,
глаз живит.*

Он снова кивнул.

— *Ты здесь, — сказал я.*

В комнате изменился воздух. Он стал плотным, как перед грозой, когда ещё не гремит, но кожа уже знает, что небо собирается говорить. Белое утро за окном постепенно светлело, но внутри комнаты словно появилась другая белизна — холодная, глухая, безжизненная. Я вдруг понял, что страх Ани не чёрный. Он белый. Не всякий страх приходит темнотой. Иногда страх закрывает мир молоком, снегом, пустой стеной, на которой нельзя различить ни лица, ни двери, ни выхода.

И в этой белизне мне самому стало страшно.

Я почувствовал, как будто стою не за её спиной, а перед собственным внутренним занавесом. Вспомнил все случаи, когда мне было легче не видеть: чужую боль, которая просила не материала, а участия; свою ответственность перед словами, которые нельзя украсть; смерть старых хранителей, после которой нельзя прикрываться ролью собирателя; исчезновение деревень, где дома провалились в землю, а я всё ещё пытался называть это «полевыми данными». Белая стена оказалась не только у Ани. У меня она была другой: не от нападения на остановке, а от страха признать, что дорога уже сделала меня участником и обратно в безопасного наблюдателя не пустит.

— *Калин, — сказал Егор Лукич, не поднимая глаз. — Не уходи в голову. Руку держи.*

Я вернулся в ладонь. В плечо. В дрожь живого человека. Почувствовал, как через мою руку проходит не сила, а простое присутствие. И это присутствие было труднее всякой красивой мысли.

Аня вдруг сказала:

— *Я вижу... тёмное.*

Мать у стены ахнула.

— *Молчи, — резко сказал Егор Лукич. — Радость тоже может схватить за горло.*

Он поднёс миску ближе к лицу Ани.

— *Что тёмное?*

— *Камень. Кажется.*

— *Не кажется. Видишь камень?*

— *Да. В воде.*

— *Хорошо. Белое раздвинулось.*

Он взял мою руку с её плеча и положил поверх своей, над миской, не касаясь воды. Его рука была сухая, костистая, тёплая. Моя — влажная от волнения.

— *Теперь передача через действие, — сказал он мне. — Запомни: при испуге не надо сразу тащить человека к яркому свету. Сначала дай ему увидеть малое тёмное в безопасной воде. Глаз должен понять, что тёмное не всегда опасность.*

Эти слова вошли глубоко.

Не всякая тьма враг.

Иногда тьма — первый предмет, который возвращает мир.

Егор Лукич снова начал говорить, теперь громче, но всё ещё без нажима, как будто не убеждал, а прокладывал путь:

*Камень в воде — не страх,
тень на земле — не враг,
дверь в дому — не беда,
лицо в памяти — не весь мир.*

*Белому отойти,
глазу различить,*

*сердцу вернуться,
свету войти.*

Аня моргнула. Потом ещё раз. Её взгляд, до этого пустой, вдруг зацепился за миску. Не уверенно, не полностью, но зацепился, словно крючок нашёл в воде первое дно.

— *Вода, — прошептала она.*

— *Видишь воду? — спросил Егор Лукич.*

— *Да. Не всю. Но вижу, как блестит.*

— *А руку?*

Он поднял свою руку рядом с миской. Аня смотрела долго, и это долгое смотрение было настоящей работой: лоб её напрягся, губы приоткрылись, дыхание стало неровным, но она не отвернулась.

— *Тёмное пятно.*

— *Хорошо. Пятно лучшие пустоты.*

Потом он кивнул мне.

Я наклонился ближе и сказал третий раз:

— *Ты здесь.*

И в этот момент Аня повернула голову на мой голос. Не просто на звук. Она посмотрела туда, где я стоял. Её глаза ещё блуждали, ещё искали, но в них уже появилось направление. Не зрение как победа. Не чудо. Только первая нитка, брошенная из белой пустоты к миру.

— *Я вижу... силуэт, — сказала она.*

Мать заплакала беззвучно. Слёзы текли по её красному лицу, но она не бросилась к дочери. Стояла у стены, прижав кулаки к груди, и в этом её удержании тоже был маленький подвиг. Егор Лукич положил серую нить в воду. Нить намочла, потяжелела и медленно опустилась на дно рядом с камнем.

— *Всё. Дальше не тянуть. Если резко открыть, страх обратно ударит.*

— *Но она же видит, — прошептала мать.*

— *Не кричи радостью. Радость тоже может испугать. После белого занавеса даже счастье надо подавать маленькими глотками.*

Он снял миску с колен Ани и поставил на стол. Вода в ней чуть дрожала, хотя никто уже её не касался.

— *Аня, слушай. Сегодня не смотри в зеркало. Не выходи одна на улицу. Дверь перед сном проверь один раз. Только один. Не десять. Если захочешь проверить второй раз, скажи: «Я здесь». Утром смотри на тёмный предмет в воде. Не на лицо, не в окно, не в телефон. На камень в воде. Три дня.*

— *А потом?*

— *Потом придёшь.*

— *Я снова буду видеть?*

Егор Лукич помолчал. Эта пауза была важнее быстрого утешения. Он не хотел дать ей дешёвую надежду, которая завтра могла разбиться и снова испугать глаз.

— *Ты уже начала возвращаться. Не торопи глаз. Он испугался. Ему надо поверить, что мир не весь тот человек.*

Аня кивнула. Она устала так, будто прошла долгую дорогу, хотя всё это время сидела на стуле. Мать подошла к ней, но Егор Лукич поднял руку.

— *Не хватай. Пусть сама встанет.*

Аня медленно поднялась. Пошатнулась. Я шагнул было вперёд, но Егор Лукич едва заметно качнул головой. Она выпрямилась сама. Посмотрела на окно.

— *Свет, — сказала она.*

— *Какой?*

— Серый.

— Серый — тоже свет, — сказал Егор Лукич.

Эта фраза легла в комнату тихо и прочно. Мать тихо заплакала уже без страха. Аня стояла рядом с ней и не хваталась за руку, хотя пальцы всё ещё искали опору. Они уходили медленно. В сенях мать долго помогала ей надеть куртку, но уже не суетилась. Я слышал, как скрипнула дверь, как на лестничной площадке Аня спросила: «Тут ступень?» — и мать ответила: «Да, одна». Потом шаги удалились.

Когда они ушли, в комнате осталось ощущение после сильного ветра, хотя никакого ветра не было. Миска с водой стояла на столе. На дне лежали тёмный камень и серая нить. Старые очки с треснувшим стеклом были закрыты чёрной тканью. Утро наконец вошло в комнату, но вошло не ярко, а осторожно, серым светом, который не побеждал тьму, а договаривался с ней.

Я сел. Руки у меня дрожали.

— Теперь пиши, — сказал Егор Лукич.

— Заговор?

— Нет. Сначала то, что видел.

Я открыл блокнот и писал медленно, стараясь не сделать из живого сухую схему. Но всё равно строки выходили короткими, рабочими, будто я боялся, что если начну расписывать, то украду у события его тишину:

«Страх может закрыть не тьмой, а белым. Белое не всегда свет. Иногда это занавес. При испуге не вести сразу к яркому. Сначала безопасный тёмный предмет в воде. Помощник стоит за спиной. Рука на плече легко. Говорить только: „Ты здесь“. Мать не должна держать руку. Страх через руку тоже держится».

Егор Лукич смотрел, как я пишу. Потом сказал:

— Теперь открытое запиши. Не всё.

Он продиктовал:

*Не белой стене стоять,
не испугу глаз держать,
не чужому лицу весь мир закрывать.*

*Глаз не один,
за глазом род,
за родом свет,
за светом жизнь.*

*Белому отойти,
глазу различить,
сердцу вернуться,
свету войти.*

— А остальное?

— Остальное было для неё.

Я уже знал этот ответ, но каждый раз он звучал по-новому. Не как запрет. Как напоминание, что у каждого страха есть своё место, своя мера и своя закрытая строка.

— Что это за Вий? — спросил я.

— Вий зажатого света. Первый из тех, кого ты должен понять до росы.

— Почему до росы?

— *Потому что роса открывает утро. А если человек не понимает, как страх закрывает свет, он будет умывать глаза и думать, что делает дело. Роса не вода для кожи. Роса — для принятия света. А свет нельзя принять, пока не знаешь, почему он не входит.*

Он взял из миски камень, вытер его чёрной тканью и протянул мне. Камень был гладкий и холодный. На нём осталась влага, но он уже не казался речным дном. Он стал маленьким куском ночи, который можно держать в ладони без страха.

— *Держи.*

— *Это передача?*

— *Нет. Это напоминание.*

— *О чём?*

— *Что тёмное не всегда враг. Иногда через него глаз возвращается к миру.*

Я сжал камень. Он лёг тяжело, как маленькая земля.

— *А передача?*

Егор Лукич впервые улыбнулся по-настоящему, хотя улыбка сразу же спряталась в складках лица.

— *Ты всё ещё думаешь, что передача — это вещь.*

Я промолчал.

— *Сегодня передача была не в камне. Она была в словах, которые ты сказал ей за спиной.*

— *«Ты здесь»?*

— *Да. Три раза. Первый раз ты сказал ей. Второй раз себе. Третий раз дороге.*

Я почувствовал, как в груди стало тихо. Эти три слова вдруг вернулись ко мне не как часть ритуала, а как моя собственная проверка. Ты здесь. Не в бумаге. Не в прошлом. Не в роли. Здесь. За спиной живого человека. В сером утре. С рукой, которая дрожит, но держит.

— *А куда дальше?*

Он посмотрел на берёзовый лист.

— *Теперь к росе.*

— *Где искать травницу?*

— *Не ищи травницу. Ищи ребёнка, который боится утра.*

— *Это что значит?*

— *То, что значит.*

— *Прямо ребёнка?*

— *Может, ребёнка. Может, в себе. Может, увидишь девочку. Может, услышишь плач на рассвете. Лунная дорога не любит точных указателей.*

— *Домна сказала: «Ищи ту, у которой дети не плачут на рассвете».*

— *Правильно сказала.*

— *А вы говорите: ребёнка, который боится утра.*

— *Одно без другого не откроется.*

Я записал эту фразу. Егор Лукич сложил старые очки, серую нить и чёрную ткань обратно в сумку. Камень остался у меня.

— *Запомни карту, — сказал он, завязывая верёвку. — Не болезни ищи. Страхи. Но не говори людям: «твоя болезнь от страха». Это грубо и глупо. Болезнь может иметь много корней. Тело не любит, когда его объясняют одним словом. Но страх почти всегда становится её тенью. А иногда тень такая густая, что сама закрывает свет.*

Он надел шапку.

— *Это важно?*

— *Это закон для твоей книги. Если начнёшь всё сводить к страху — соврёшь. Если страх не увидишь — ослепнешь как собиратель.*

Я кивнул.

— *И ещё. Вий не виноват, что человек боится.*

— *А кто виноват?*

— *Вопрос плохой. Не всё лечится виной.*

Он подошёл к двери, но задержался, словно прислушался к чему-то не в комнате, а за ней.

— *Вий держит веки, пока человек не готов смотреть. Но если человек готов, Вий отдаёт ключ. Сегодня Аня получила свой первый ключ: камень в воде. Ты получил свой: не всякая тьма враг.*

— *А вы?*

— *А я старый. Мне уже не ключи, а замки снятся.*

Он вышел. Дверь закрылась тихо, почти осторожно, будто тоже не хотела пугать утро.

Я остался один.

На столе лежали мои предметы. Теперь к ним добавился тёмный камень. Берёзовый лист в бумаге был сухой, но когда я развернул его, от него снова пахло мокрой травой. Липовый цвет Домны тоже дал слабый запах. Огарок свечи казался теплее обычного. Всё это вместе уже не было коллекцией. Это была карта, но карта не мест, а состояний. Ключ — порог. Узелок — вода. Огарок — мера. Лист — роса. Камень — тьма, которая не враг.

Я взял блокнот и написал заголовок: «Когда страх держит веки».

Потом долго смотрел на эти слова. Теперь они не были названием главы. Они были двумя. За окном поднялось утро. Не яркое. Не торжественное. Серое, почти такое же, какое увидела Аня после ритуала. Раньше я считал такой свет недостаточным, промежуточным, не состоявшимся. Настоящий свет, думал я, должен быть золотым, ясным, победным, как в книгах, где герой выходит из тьмы и сразу видит солнце. Но теперь серый утренний свет казался мне честным. Он не обещал чуда. Он не требовал восторга. Он просто входил в комнату и показывал края предметов: стол, миску, лист, камень, мои руки.

Серый — тоже свет.

Я произнёс эту фразу вслух. Не громко, почти для себя. И в этот момент где-то за окном заплакал ребёнок.

Не громко. Не отчаянно. Коротко, сонно, как плачут дети, когда их будит утро, а они ещё не готовы выходить из сна. Я подошёл к окну. Во дворе соседнего дома молодая женщина держала на руках маленькую девочку. Девочка шурилась, отворачивалась от света, прятала лицо в материнский платок. Мать что-то говорила ей, уговаривала, покачивала, но девочка мотала головой и плакала всё сильнее, словно серое утро было для неё не началом дня, а чем-то слишком большим, слишком резким, слишком настоящим.

Я стоял у окна и чувствовал, как в кармане, где лежал берёзовый лист, что-то будто потеплело.

Не сильно.

Достаточно, чтобы понять: лунная дорога снова не даст мне прямого луга. Сначала будет ребёнок, который боится утра. Потом, может быть, женщина, у которой дети не плачут на рассвете. Потом роса, если я научусь не торопить свет.

За моей спиной на столе лежал камень, вынутый из воды после Аниного страха. В нём не было блеска, не было красоты, не было ничего, что захотелось бы показать как редкую находку. Но когда я взял его снова, он уже не казался холодным. Он был просто тёмным. И в этой простой тьме впервые не было угрозы.

Я положил камень рядом с берёзовым листом, закрыл блокнот и долго стоял у окна, пока ребёнок за стеклом постепенно не перестал плакать. Девочка всё ещё прятала лицо в материнский платок, но уже иногда поворачивалась к свету и шурилась не от ужаса, а от непривычки. Утро поднималось медленно, серое, влажное, без победных лучей, но в нём было достаточно света, чтобы увидеть следующий шаг.

Врата росы были уже рядом.

Глава 6. Малые Вии

После Ани я стал осторожнее смотреть на свет.

До той утренней слепоты свет казался мне делом почти честным и простым: он либо есть, либо его нет. Лампа горит или погасла. Окно открыто или занавешено. Ночь ушла или ещё держит двор в своей мокрой ладони. Человек видит, если глаз принимает луч, и не видит, если лучу перекрыт путь. Так думать удобно, потому что тогда мир можно разложить на ясные полки: здесь тьма, здесь свет, здесь болезнь, здесь здоровье, здесь внешняя причина, здесь внутреннее состояние. Но лунная дорога тем и страшна, что она не любит удобных полок. Она берёт привычную вещь, подносит её к самому лицу, и вдруг оказывается, что привычная вещь смотрит на тебя иначе.

Белое может быть не светом, а занавесом.

Тёмное может быть не врагом, а первым предметом, который возвращает мир.

Страх может не только затемнять. Он может выбеливать, стирать, выжигать различия, оставлять человеку одно пустое молоко перед глазами, где нет ни дверей, ни лиц, ни углов стола, ни собственной руки. И тогда самое опасное не темнота. Самое опасное — ровная безразличная белизна, которая притворяется светом, а сама не даёт глазу ни за что зацепиться.

Егор Лукич ушёл, но тёмный речной камень остался на столе. Я несколько раз брал его в ладонь, подносил к окну, рассматривал тонкую серую полосу, проходившую почти посередине. Полоса была неровная, как след воды на береговой глине, как память о течении, которое когда-то долго гладило камень, пока не сделало его таким спокойным, тяжёлым и молчаливым. В нём не было ничего украшенного. Не амулет, не знак власти, не вещь, которую хочется показывать другим. Просто камень. Но рядом с ржавым ключом бабки Кали, узелком Аксиньи, огарком Домны, берёзовым листом с высохшим светлым пятном и липовым цветом он уже не был простым.

Он лежал как доказательство того, что тьма не всегда приходит против человека. Иногда она приходит первой ступенькой. Иногда глаз, испуганный белым мороком, должен увидеть не сияние, не икону, не солнце, не раскрытое окно, а маленький тёмный камень в воде. Потому что тёмное, положенное на своё место, перестаёт быть бездной и становится предметом. А предмет уже можно увидеть.

Я записал: «Не всякая тьма враг».

Потом долго смотрел на эту фразу. Она была короткая, но внутри неё стоял целый дом. В нём были сени моего детства, где я впервые не побежал от темноты; была изба Марьи с порогом и водой; был дом Домны, где чужое слово надо было возвращать через свечу; была Аня, которая увидела камень прежде, чем снова увидела серый свет. Фраза не просила объяснений. Она просила продолжения.

Я перевернул страницу и сверху написал:

«Малые Вии».

Рука дрогнула.

Слово «Вий» уже не было книжным. Не гоголевским. Не именем страшилища из школьного пересказа, где поднимают веки и человек гибнет от того, что увидел запретное. Теперь оно становилось другим: не чудовищем, не сказочным пугалом, не внешней силой, которую можно изгнать криком или крестом. Вий был внутренним стражем помрачения, тем, кто держит веки там, где человек сам не выдерживает взгляда. Но если Вий один, почему страхи разные? Почему страх темноты не похож на страх будущего, страх чужого взгляда — на страх смерти, страх радости — на страх потери, страх тишины — на страх собственной правды?

Я смотрел на написанное и чувствовал, что в этой главе нельзя торопиться. Здесь была не история одного человека. Здесь начиналась карта. А карта, если её чертить грубо, становится

ложью. В детстве бабка Каля никогда не раскладывала страхи по названиям. Она не говорила: этот страх первый, этот второй, этот относится к глазу, этот к сердцу, этот к роду. Она жила иначе. Она видела человека целиком, а потом брала воду, ключ, полотенце или молчание и ставила страх на место. Теперь же мне приходилось делать то, чего она, может быть, избегала: превращать живую дорогу в слова. И от этого во мне снова поднялся тот самый Вий самовольного слова, только уже тоньше, умнее, почти приличный. Он шептал: назови, классифицируй, объясни, сделай систему, чтобы владеть.

Я закрыл блокнот.

И в этот момент в дверь постучали.

Стук был старческий, неровный, с паузой между ударами. Не тревожный, как у матери Ани, не уверенный, как у Егора Лукича. Так стучат люди, которые долго стояли перед дверью и несколько раз собирались уйти, но всё-таки подняли руку. В этом стуке было извинение заранее, просьба не сердиться, страх оказаться лишним и такая усталость, что дверь словно сама должна была понять и открыться.

Я подошёл и сразу почувствовал, как комната насторожилась вместе со мной. На столе тихо лежали предметы, но после лунной дороги вещи уже умели ждать. Я открыл.

На пороге стояла пожилая женщина в сером пальто, застёгнутом не на те пуговицы: верхняя петля осталась пустой, ниже ткань пошла перекосом, и из-за этого весь её вид казался собранным в спешке, будто она одевалась не руками, а тревогой. На голове тёмный платок, под подбородком узел слишком тугой. В руке старая сумка с облезлой ручкой. Лицо худое, чистое, с мелкими морщинами у губ; глаза бегали — на меня, за моё плечо, на лестницу, на собственные пальцы, на окно в конце коридора, где мутнел утренний свет. Взгляд у неё не был ни слепым, ни мутным. Он был чрезмерно живым, слишком быстрым, как у птицы, которую долго держали в клетке, а потом вынесли на открытый воздух и забыли объяснить, что небо не падает.

За её спиной стоял Егор Лукич. Шапка сидела низко, куртка была мокрая на плечах, будто он шёл через мелкую морось, хотя дождя в тот час я не слышал.

— *Вот,* — сказал он. — *Теперь карта сама пришла.*

Женщина быстро повернулась к нему, и в этом движении было столько привычки извиняться, что она словно ещё до слов просила разрешения существовать.

— *Егор Лукич, может, не надо? Я лучше потом. Я, может быть, зря...*

— *Потом ты уже тридцать лет говоришь,* — ответил он без злости. — *Заходи.*

Она смутилась, опустила глаза и переступила порог так осторожно, будто под ним лежала тонкая льдина. Егор Лукич вошёл следом. В комнате сразу стало теснее не от людей, а от тревоги, которую Анна Петровна принесла с собой. Она действительно вошла как мокрый зонт: даже закрытая, всё равно капает на пол. Её тревога попадала на вещи, на стул, на воздух, на мои записи, и я почти физически ощутил, как эта тревога ищет, где бы зацепиться.

— Это Анна Петровна, — сказал Егор Лукич. — Ей то видно, то не видно. То ясно, то мутно. То вдаль смотрит, то пуговицы найти не может. Врачи своё говорят, и правильно говорят, потому что своё надо слушать. А я своё скажу: у неё не один Вий. У неё целая артель.

— *Какая артель?* — испуганно спросила Анна Петровна.

— *Малая. Не бойся заранее, а то им тесно станет.*

Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла жалкая, тонкая, как нитка, которая вот-вот оборвётся.

— *Я не хотела вас беспокоить. Просто после той девочки... Аня, кажется? Её мать сказала, что вы помогли. А у меня глаза странные. То вижу, то нет. И всё хуже, когда волнуясь. Особенно если жду чего-то плохого. Или если одна дома. Или если дети не звонят. Или если давление меняется. Или если новости посмотрю. Всё сразу плывёт. Потом отпускает. Потом опять. Я уже и капли капаю, и давление меряю, и очки меняла, и к врачу ходила, а всё*

равно... как будто взгляд у меня не мой. С утра бывает ничего, а к вечеру всё пляшет. А если кто-то громко скажет — сразу как дым.

Она говорила быстро, захлёбываясь словами. Каждое слово было маленькой иглой, и казалось, она сама колола себя ими изнутри, чтобы не дать молчанию подойти ближе. Я видел, как она сжимает сумку, как большой палец то гладит облезлую ручку, то давит на неё, как плечи у неё подняты к ушам, а спина не решается опереться ни на что. Она пришла за глазами, но всё её тело говорило о другом: я не держусь на земле, я держусь на тревоге.

— *Садись*, — сказал Егор Лукич.

Она села на край стула, готовая в любую секунду вскочить.

— *Спина к спинке.*

— *Мне так неудобно.*

— *Неудобно тебе жить без спинки. Прислонись.*

Анна Петровна послушалась не сразу. Сначала чуть подалась назад, потом снова замерла, будто за спиной у неё была не деревянная спинка, а чужая рука. Наконец она коснулась дерева лопатками и вдруг выдохнула, сама удивившись этому выдоху.

— *Вот*, — сказал Егор Лукич. — *Видишь? Даже стулу не веришь.*

Она покраснела.

— *Я просто привыкла сама.*

— *Это не сама. Это без опоры.*

Он посмотрел на меня.

— *Стол освободи.*

Я убрал бумаги, карандаши, недописанные заметки, оставил только предметы дороги. Но Егор Лукич покачал головой.

— *Не оставил. Разложи. Всё, что уже пришло к тебе.*

Я понял. Осторожно, почти как перед свидетелями, стал доставать вещи и класть их на стол одну за другой: ржавый ключ бабки Кали, узелок Аксины, берёзовый лист с высохшим пятном росы, липовый цвет, огарок Домны, тёмный речной камень, фотографию бабки Кали, где она стояла рядом с Аксиной и мальчиком, которого я не помнил головой, но узнавал телом. Каждая вещь ложилась на стол тихо, но после каждой в комнате что-то менялось. Ключ принёс холод порога. Узелок — запах старой воды. Огарок — медовую терпкость воска. Камень — глубокую тьму, которая не угрожала. Лист — утро, ещё не пришедшее, но уже оставившее на себе след.

Егор Лукич открыл свою сумку. Внутри вещи лежали в тряпицах, узелках, маленьких свёртках, как будто каждая имела право на отдельную тишину. Он достал треснувшее зеркальце в потемневшей оправе, красную нить, кусок печной золы, завернутый в полотняную тряпицу, сухой пчелиный сот, медную пуговицу, кованый гвоздь, птичье перо и маленький колокольчик без языка. Колокольчик был тёмный, с зеленоватым пятном на боку. Он не мог звенеть, и именно поэтому казался особенно внимательным.

Стол сразу изменился. Ещё минуту назад это была плоскость, на которой можно писать, пить чай, раскладывать бумаги. Теперь он стал похож на внутреннюю карту человека. Не карту дорог и деревень, а карту того, что обычно не показывают: порогов, утрат, стыда, будущего, чужого взгляда, радости, которую запретили себе после горя, молчания, которое годами стоит в горле, как колокольчик без языка.

Анна Петровна смотрела на предметы так, будто каждый из них знал про неё больше, чем она хотела сказать.

— *Это всё для меня?*

— *Это всё про тебя*, — сказал Егор Лукич. — *И не только про тебя.*

Он взял ключ и положил ближе к краю стола.

— *Это порог. Страх начать и страх выйти. У кого он силен, тот годами стоит у двери: из старого не ушёл, в новое не вошёл.*

Потом коснулся камня.

— *Это зажжённый свет. Когда человек боится увидеть опасность и закрывает весь мир. Берёзовый лист он положил выше.*

— *Это утро. Страх нового дня. Не ночи уже боится человек, а того, что ночь закончилась и снова надо жить.*

Я принёс миску с водой. Он поставил её в центр.

— *Это туман. Горе, неопределённость, испуг. Вода без дна, когда взгляд не знает, за что держаться.*

Огарок свечи лёг справа.

— *Это слово. Страх взять без права и страх принять помощь.*

Кованный гвоздь.

— *Огонь и боль. Страх собственной силы.*

Зеркальце.

— *Страх себя.*

Серая нить вытянулась к дальнему краю стола.

— *Даль. Страх будущего.*

Красная нить свернулась рядом.

— *Чужой взгляд. Суд, стыд, сглаз, насмешка, ожидание оценки.*

Медная пуговица.

— *Тишина после звона. Когда событие прошло, а внутри ещё гудит.*

Пчелиный сот.

— *Радость. Да, Анна Петровна, радости тоже боятся.*

Она подняла глаза, почти обиженно.

— **Радости-то чего бояться?**

— *После потери человек иногда думает, что радость предаст мёртвых.*

Она сразу опустила взгляд.

Зола.

— *Прошое, которое не отпускают.*

Перо.

— *Различение. Страх не заметить важное, пропустить опасность, ошибиться глазом.*

Колокольчик без языка он положил последним.

— *Молчание. Когда звук внутри есть, а наружу не выходит.*

Анна Петровна бледнела с каждым предметом. Её пальцы на коленях то сжимались, то распрямлялись, словно она перебирала невидимые чётки тревоги.

— *Мне страшно, — сказала она.*

— *Правильно, — ответил Егор Лукич. — Карта страха без страха не открывается.*

— *Я не хочу такую карту.*

— *А она у тебя и так есть. Просто ты по ней вслепую ходишь.*

Он посмотрел на меня, и в этом взгляде было не «записывай», а «запоминай кожей».

— *Малые Виш не живут отдельно. Они ходят кругами. Один задевает другого. У человека редко один страх. Обычно связка. Один держит дверь, другой зеркало, третий даль, четвёртый горло. И человек думает: у меня глаза. А на самом деле у него внутри целая артель держит свет.*

— *Как у Анны Петровны? — спросил я.*

— *Да. У неё первый — потеря. Второй — одиночество. Третий — будущее. Четвёртый — чужой взгляд. Пятый — старость. Шестой — смерть, но она пока это слово не любит.*

Анна Петровна вздрогнула так, будто он не произнёс слово, а поставил ей на ладонь ледяной гвоздь.

— *Не надо про смерть.*

— *Вот видишь, — сказал он. — Шестой заговорил.*

Она закрыла глаза.

— *Открыть.*

Голос Егора Лукича не стал громче, но в нём появилась такая твёрдость, что веки Анны Петровны сами поднялись.

— *Когда ты закрываешь глаза, они радуются.*

— **Кто?**

— *Те, кто держит.*

Он повернулся ко мне.

— *Встань справа от неё. Не за спиной. Сегодня за спиной нельзя.*

— **Почему?**

— *Она и так всё время ждёт удара сзади. Справа стой. Правая сторона — дело. Левая у неё сейчас страхом забита.*

Я встал справа от Анны Петровны. С этого места я видел её профиль: тонкий нос, морщины у губ, напряжённую челюсть, жилку на виске. От неё пахло аптечными каплями, старой шерстью, холодной улицей и чем-то домашним, мучным, будто она перед выходом закрыла кастрюлю с тестом, но сама уже давно не ест свежего хлеба с радостью. Вблизи её страх был слышен: короткое дыхание, сухое сглатывание, шуршание пальцев по ткани пальто.

— *Твоя задача, Калинин, — сказал Егор Лукич, — когда она начнёт путаться, ты будешь называть предмет, на который я укажу. Одно слово. Не объясняй.*

Я кивнул.

— *Анна Петровна, смотри на стол.*

Она посмотрела. Вернее, попыталась посмотреть. Взгляд бросался от предмета к предмету: ключ, камень, вода, свеча, зеркало, нить. Он нигде не задерживался. В этом метании было что-то мучительное. Так человек в тревоге проверяет окна и двери, хотя знает, что закрывал их уже пять раз.

— **Что видишь?**

— *Всё.*

— *Всё — это значит ничего. Один предмет выбери.*

— *Не могу.*

— **Почему?**

Она губами поискала ответ и вдруг сказала совсем тихо:

— *Остальные пропадут.*

Егор Лукич кивнул.

— *Вот. Страх потери.*

Он показал на золу.

— *Зола, — сказал я.*

Анна Петровна перевела взгляд на серый свёрток и сразу будто уменьшилась.

— *Не хочу.*

— **Почему?**

— *Похороны.*

— **Чьи?**

Она молчала, и молчание у неё было не пустым, а полным, как закрытая печь, где ещё тлеет, но уже не видно огня.

— *Мужа? — спросил Егор Лукич.*

Слёзы выступили сразу, без подготовки. Не хлынули, не сорвались рыданием, а просто появились и стали стоять в глазах, увеличивая их, делая взгляд влажным, детским и старым одновременно.

— *Двенадцать лет,* — сказала она. — *Уже двенадцать. Все говорят: пора. А куда пора? Он утром ещё говорил, что печь надо почистить. А вечером...* — она замолчала. — *Я тогда не успела ему сказать, что я не сержусь.*

Этого в исходной её жалобе не было. Это вышло теперь, когда зола легла на место.

— *За что сердилась?*

— *За пустое. За доски, за деньги, за то, что опять обещал к сыну съездить и не поехал. За то, что молчал много. Я тогда хлопнула дверь. Потом он лёг. Потом сердце. А я всё думаю: он ушёл, а последнее моё слово было злое.*

Она говорила уже медленнее. Страх, который раньше бегал, начал садиться на предметы.

— *Вот и держишь золу,* — сказал Егор Лукич. — *Думаешь, если отпустишь прошлое, предашь его. А на самом деле ты не его держишь, а тот последний хлопок двери.*

Анна Петровна закрыла лицо руками.

— *Руки убрать.*

Она убрала. Глаза были красные, но смотрели теперь не везде сразу, а на золу.

Егор Лукич развязал тряпицу, взял маленькую щепоть печной золы и положил ей на ладонь. Зола была серой, лёгкой, но Анна Петровна вздрогнула так, будто ей дали камень.

— *Холодная,* — удивилась она.

— *Всё сгоревшее холодное, если его долго держать.*

Он начал говорить не громко и не шёпотом. Его голос лёг на комнату, как тяжёлая ладонь на дрожащий стол:

*Не дыму глаз есть,
не пеплу сердце держать,
не прошлому день закрывать.*

*Что было — в память,
что сгорело — в землю,
что живёт — в дыхание.*

Страх потери, место знай.

Вий золы, глаз не держи.

*Мёртвое не трогаю,
живое не хороню.*

Последние две строки он велел ей повторить. Сначала она произнесла их губами, почти без звука. Потом чуть громче. На третьем повторе голос сорвался на слове «живое».

— *Кто живое?* — спросил Егор Лукич.

Она молчала.

— *Кто?*

— *Я,* — сказала Анна Петровна и сама испугалась этого слова.

— *Вот.*

Он кивнул мне.

— *Свеча.*

— *Свеча,* — сказал я.

Она перевела взгляд на огарок Домны. Огонь ещё не был зажжён, но её лицо уже изменилось: в нём появилось сопротивление. Не паника, а упрямая, сжатая привычка.

— *Это помощь,* — сказал Егор Лукич. — *Ты её боишься больше старости.*

— *Я привыкла сама.*

— *Все, кто так говорит, обычно уже давно не сами, а со своим страхом.*

Анна Петровна устало улыбнулась сквозь слёзы.

— *Вы злой.*

— *Нет. Старый.*

Он взял огарок, поднёс его к маленькой свечке, которую поставил рядом с миской. Фитиль долго не хотел принимать огонь. Он дымил, чернел, пахнул горелой ниткой. Анна Петровна смотрела на него так внимательно, будто от этого маленького огонька зависело больше, чем от всех ламп в комнате. Наконец пламя взялось, маленькое, неровное, но живое.

— Скажи: «Я принимаю помощь».

Она сжалась.

— *Не могу.*

— *Поэтому и надо.*

— *Я принимаю помощь,* — сказала она едва слышно.

— *Ещё.*

— *Я принимаю помощь.*

— *Не как должница. Как живая.*

Она вдохнула, и в этом вдохе было видно, сколько лет она не позволяла себе просить.

— *Я принимаю помощь.*

Пламя на огарке стало ровнее. Не чудесно, не театрально, просто перестало метаться. Я почувствовал, как собственные пальцы сжались. Мне было стыдно, потому что я услышал в её словах свою тайную привычку: всё понять самому, всё собрать самому, всё удержать под контролем, не попросить, не признать, что дорога больше тебя. Малый Вий помощи сидел и во мне: приличный, образованный, с блокнотом в руке.

Егор Лукич не смотрел на меня, но сказал:

— *Калин, не прячься за сочувствие. У тебя тот же сидит, только в другой шапке.*

Я хотел возразить, но не смог. Возражение было бы ложью, а в комнате, где на ладони лежала зола, ложь звучала бы слишком громко.

— *Зеркало,* — сказал он.

— *Зеркало.*

Анна Петровна резко отвела взгляд ещё до того, как я произнёс слово до конца.

— *Вот третий,* — сказал Егор Лукич. — *Себя не видишь. Старость не принимаешь. Поэтому глаз сам себе врагом становится.*

Он положил перед ней маленькое треснувшее зеркальце. В нём отражалось не всё лицо, а только его часть: один глаз, кусок щеки, платок у виска. Трещина пересекала отражение, делая его как будто старше и честнее. Анна Петровна смотрела на зеркальце боком, будто оно могло внезапно сказать вслух то, что она сама себе говорила ночью.

— **Что видишь?**

— *Старуху.*

— **Это чужое слово или твоё?**

Она молчала.

— *Говори.*

— *Моё.*

— *Замени.*

— **На что?**

— *На правду.*

Она долго смотрела. В комнате тикали часы, за стеной где-то прошла вода по трубе, за окном проехала машина, но всё это было далеко. Близко был только её глаз в зеркале, влажный, испуганный, но уже не бегущий.

— *Женищину*, — сказала она.

— **Какую?**

— *Уставшую.*

— *Ещё.*

Она сглотнула.

— *Живую.*

— *Вот.*

Егор Лукич взял зеркальце, но не убрал. Положил его так, чтобы оно оставалось в круге. Потом показал на серую нить.

— *Нить*, — сказал я.

Серая нить лежала вытянутой от миски к краю стола, как дальняя дорога, на которую ещё не ступили. Анна Петровна смотрела на неё, и в её лице снова появилась та птица из клетки.

— *Чего боишься впереди?* — спросил он.

— *Болезни.*

— *Ещё.*

— *Одиночества.*

— *Ещё.*

— *Что дети забудут.*

— *Ещё.*

Она почти не шевелила губами:

— *Смерти.*

В комнате будто стало ниже небо. Даже огонь на свечке потянулся меньше, осторожнее. Я почувствовал, как по спине прошёл холод, не резкий, а глубокий. Слово было названо, но Егор Лукич не стал входить в него. Он только тихо сказал:

— *Вот Великий зашевелился. Но сегодня не его день. Сегодня только малые. Большого трогают тогда, когда малые уже знают свои места.*

Анна Петровна смотрела на нить и плакала беззвучно. Это был уже не тот плач, с которым она вошла, не тревожный, не суетный. Слезы шли, а лицо становилось спокойнее, потому что названный страх переставал бегать по комнате невидимой мышью.

Егор Лукич взял колокольчик без языка и положил ей в другую ладонь.

— *Позвони.*

— *В нём нет языка.*

— *Значит, слушай, как он молчит.*

Она смотрела непонимающе.

— *У тебя внутри много слов без языка. Ты их не говоришь. Они и мутят. Какие не сказала мужу. Какие не говоришь детям. Какие не говоришь себе.*

Анна Петровна закрыла глаза.

— *Открыть.*

Она открыла.

— *Одно слово скажи.*

— **Какое?**

— *Самое маленькое.*

Она долго молчала. Молчание становилось плотным, как тесто, которое не поднимается, потому что в доме холодно. Потом она произнесла:

— *Боюсь.*

Егор Лукич кивнул.

— *Вот колокольчик зазвучал.*

И правда, хотя колокольчик не мог звенеть, в комнате появилась тонкая внутренняя нота. Может быть, это за окном звякнуло ведро у дворника. Может быть, в батарее щёлкнул металл. А может, некоторые звуки не нуждаются в языке, потому что рождаются в том месте, где человек впервые сказал правду.

Анна Петровна выдохнула. Плечи её опустились. Спина осталась на спинке стула, и теперь это уже не было подвигом.

— *У меня глаза...* — сказала она и остановилась.

— **Что глаза?**

— *Как будто стол ровнее.*

— **Был кривой?**

— *Нет. Но всё прыгало. Сейчас меньше.*

— *Потому что страхи перестали бегать. Мы их положили.*

Он провёл пальцем вокруг круга предметов.

— *Запомни, Анна Петровна. Утром будешь делать круг из трёх вещей. Не всех. Тебе пока нельзя всех. Зола, свеча, зеркало. Сначала зола: «Мёртвое не трогаю». Потом свеча: «Я принимаю помощь». Потом зеркало: «Я живая». Семь дней.*

— **А глаза?**

— *Глаза будут слушать, как ты перестанешь хоронить живую себя.*

Она кивнула, но я видел: ей страшно не меньше, чем в начале. Только страх стал другим. Раньше он был мутной стаей. Теперь у него появились имена, предметы, места на столе. Невидимый страх сильнее видимого, сказал Егор Лукич. Теперь я понимал это не головой. Видимый страх всё ещё страшен, но он уже не всевластен.

— *И детям звонить?* — спросила она.

— *Не с жалобой. С просьбой. Это разное.*

Анна Петровна посмотрела на него почти испуганно.

— *Я не умею.*

— *Научишься. Первый раз скажешь: «Мне хочется вас слышать». Не «вам мать не нужна», не «вы забыли», не «я тут одна помираю». Это всё слова Вия. Скажешь просто.*

Она повторила сначала неуверенно:

— *Мне хочется вас слышать.*

— *Ещё раз. Не как укор.*

— *Мне хочется вас слышать.*

— *Вот. Уже человеческое.*

Он собрал предметы, но оставил ей маленький кусочек золы, тонкую свечу и зеркальце.

— *Зеркало моё?* — спросила она.

— *На семь дней. Потом вернёшь. Если не вернёшь, оно начнёт показывать лишнее.*

Она испугалась.

— *Верну.*

— *Поэтому и сказал.*

Когда Анна Петровна ушла, комната словно просела от облегчения. Тревога, которая до этого носилась между стенами, осела на дно, как муть в воде после того, как сосуд перестали трясти. На столе остался круг предметов, но теперь он был уже не её кругом. Он смотрел на меня.

Егор Лукич долго молчал. Потом сказал:

— *Вот теперь можешь писать «Малые Вии».*

Я сел за стол. Руки у меня были тяжёлые, будто я не писал, а держал что-то над водой.

— **Как их правильно назвать?**

— *Не делай из них список для умников. Вий не любит, когда его превращают в таблицу.*

— *Но система нужна.*

— *Система нужна тебе. Жизнь без неё обойдётся.*

Он взял карандаш и нарисовал круг. Круг вышел неровным, с открытым местом внизу.

— *Пиши не «классификация страхов». Пиши «карта помрачений». Так вернее.*

Я записал: «Карта помрачений».

— *У каждого помрачения есть страх, —* сказал он. *— Но не пиши, что болезнь от страха. Это грубо и часто неправда. Болезнь может прийти от тела, крови, времени, травмы, рода, дурной привычки, случайности, работы, старости. Но страх почти всегда садится рядом и начинает командовать. Иногда он командует так сильно, что сам закрывает свет. Вот это ты имеешь право писать, если видел.*

Я записывал быстро, но уже осторожнее. Не хватал слова, как добычу, а принимал их как горячую чашку: двумя руками, чтобы не пролить.

— *Малые Вии — это не диагнозы, —* продолжал он. *— Это стражи состояний. Вий Тумана, Вий Дали, Вий Зеркала, Вий Ночи, Вий Чужого Взгляда, Вий Потери, Вий Радости, Вий Тишины, Вий Сна, Вий Времени. Все разные. Но все от одного корня.*

— **От какого?**

Он посмотрел на меня.

— *Рано.*

— **Страх смерти?**

— *Рано, сказал.*

Я замолчал. Он улыбнулся краем губ.

— *Ты уже знаешь. Но знать — не значит пройти.*

Эта фраза была точной и неприятной. В ней снова встала бабка Каля: не всё узнают языком, некоторые вещи узнают ногами. Я понял, что мой внутренний Калинов мост в этой главе был не только в сочувствии Анне Петровне. Он был в отказе от власти над картой. Я хотел разложить Виев так, чтобы самому стать над ними. А дорога требовала другого: стать рядом, признать, что карта не делает меня хозяином территории.

Егор Лукич начал раскладывать предметы заново, теперь уже для меня.

— *Ключ — страх начала и порога. Человек боится войти или выйти. У него взгляд топчется у двери.*

Ключ лёг слева.

— *Вода — страх неопределённости, горя, растворения. Взгляд мутится.*

Миска с водой легла в центр.

— *Баня — страх тела, жара, давления, усталости. Глаз тяжелеет.*

Он положил рядом кусочек сухого берёзового веника, которого я раньше не заметил в его сумке.

— *Огонь — страх боли и силы. Взгляд жмурится от жизни.*

Кованый гвоздь.

— *Зеркало — страх себя. Человек не хочет видеть собственное лицо, возраст, вину, одиночество.*

Зеркальце.

— *Даль — страх будущего. Взгляд падает под ноги.*

Серая нить.

— *Ночь — страх слепоты, неизвестности. Но ночь может открыть внутреннее зрение.*

Чёрная ткань.

— *Красная нить — страх чужого взгляда, суда, сглаза.*

Красная нить.

— *Колокол — страх тишины. Человек боится того, что услышит после звона.*

Медная пуговица.

— Пчелиный свет — страх радости. После горя некоторые боятся радоваться, будто радость предаст умерших.

Сот.

— *Лесная зоркость — страх опасности. Тревожный глаз мечется, но не различает.*

Перо.

— *Печная зола — страх потери и прошлого. Человек держит сгоревшее.*

Зола.

— *Дождь — страх хаоса. Мир мутный, а человек требует немедленной ясности.*

Он капнул водой на стол рядом с миской.

— *Сон — страх потерять контроль.*

Липовый цвет.

— *Мёртвые хранители — страх исчезновения рода.*

Он коснулся фотографии бабки Кали. Его палец лег рядом с её лицом, не на лицо, а рядом, как кладут руку у могилы не на крест, а на землю.

— *Фронтальной взгляд — страх смерти впрямую.*

Он не положил предмет. Просто посмотрел на меня.

— *Время — страх старения.*

Медленно провёл пальцем по трещине на зеркале.

— *Смородина — страх перехода.*

Он провёл линию от ключа к воде.

— *А Великий Вий? — спросил я тихо.*

Егор Лукич убрал руку.

— *Великий не лежит на столе. Он под столом.*

Я невольно посмотрел вниз. Под столом была обычная тень: ножки, перекладина, темнота у стены, куда не попадал свет окна.

— *Вот, — сказал он. — Уже смотришь.*

Мне стало не по себе. Не потому, что тень была особенной. А потому, что она была самой обычной. Великий Вий не нуждался в театре. Ему достаточно было быть там, куда человек не любит опускать взгляд.

— ***Его нельзя разложить предметом?***

— *Можно. Но тогда ты начнёшь думать, что держишь его в руках. А он не в руках.*

Он под всеми руками.

Он собрал предметы медленно, не разрушая круг, а как бы закрывая его. Каждая вещь возвращалась в тряпицу, сумку, карман или на мою сторону стола, но между ними оставалось невидимое расположение. Теперь я видел: карта не исчезает, когда убираешь предметы. Если она однажды открылась, стол уже не будет прежним.

— *Сегодня ты получил карту. Но карта не дорога.*

— ***Что теперь?***

— *Теперь роса.*

— *Я видел ребёнка утром. Девочка плакала от света.*

— *Значит, Врата близко.*

— ***Где искать травницу?***

— *У той, у которой дети не плачут на рассвете.*

— *Домна тоже так сказала.*

— *Потому что правильно сказала.*

— ***Но как я пойму?***

— *Когда увидишь ребёнка, который перестал плакать от росы.*

Он взял берёзовый лист и положил его мне на ладонь.

— *Выбери.*

— **Что?**

— *Следующее.*

На столе ещё лежали ключ, вода, гвоздь, зеркало, нить, красная нить, зола, сот, камень, колокольчик. Я смотрел на них и чувствовал странное напряжение, словно каждый предмет мог повести в свою сторону. Будто передо мной были не вещи, а двери, и каждая дверь открывалась не наружу, а внутрь человека. Рука сама потянулась к берёзовому листу.

Егор Лукич кивнул.

— *Значит, не соврал.*

— **Кому?**

— *Дороге.*

Лист был сухой, но в ладони вдруг стал прохладным.

— *Сегодня ночью положи его не под подушку, а на окно, — сказал он.*

— *Пусть утро само на него посмотрит. Если приснится луг — не ходи сразу. Если приснится вода — жди. Если приснится ребёнок — иди.*

— **А если ничего не приснится?**

— Тогда выписься. Это тоже дело.

Он встал.

— **Егор Лукич, Анна Петровна поправится?**

— *Ты всё ещё любишь большие слова.*

— **Станет легче?**

— *Если будет делать круг. Если скажет детям простую просьбу. Если не испугается зеркала. Если перестанет хоронить живую себя каждый вечер. Тогда глаз перестанет бегать между малыми Виями.*

— **А если нет?**

— *Тогда придёт снова. Или не придёт. Не всё зависит от ритуала. Человеку дают дверь, но ногами идёт он сам.*

Я записал это сразу: «Человеку дают дверь, но ногами идёт он сам».

Егор Лукич направился к двери, потом остановился.

— *И ещё. В книге твоей не делай Виев страшилками. Страшилок у людей и без тебя хватает. Вий страшен не тем, что пугает. Вий страшен тем, что показывает.*

— **Что показывает?**

— *То, что человек сам от себя спрятал.*

Он ушёл тихо. Дверь закрылась без удара, и после его ухода в комнате остались не пустота, а работа. Так бывает после хорошего разговора со стариком: он уже ушёл, а его молчание ещё сидит за столом и смотрит, не начнёшь ли ты врать.

Вечером, как он велел, я положил берёзовый лист на подоконник. Рядом поставил стакан воды. Не для ритуала даже, просто рука сама поставила. Вода поймала последний свет дня и стала бледно-золотой, а лист лежал на белой поверхности подоконника тонкий, сухой, почти невесомый. За окном город медленно темнел. В окнах соседнего дома загорались лампы. Где-то внизу хлопнула дверь подъезда. Кто-то смеялся, кто-то ругался по телефону, машина сдала назад и пискнула, но всё это звучало как далёкая жизнь, которая пока не знает о Вратах.

Я долго не ложился. Переписывал карту помрачений, но уже не как таблицу. Писал осторожно, через сцены, через людей, через предметы. Ключ — не «тип страха», а порог, на котором человек топчется. Зола — не символ прошлого, а холод сгоревшего, который можно годами держать в ладони. Зеркало — не объект, а место встречи с тем, кого человек каждый день обходит. Колокольчик без языка — не красивая метафора, а все слова, которые не вышли наружу и начали мутить взгляд изнутри.

В какой-то момент я поймал себя на том, что пишу не про Анну Петровну, а про себя. Про свои записи, которые тоже могли стать золой, если я буду держать их как мёртвый мате-

риал. Про свою жадность к системе. Про страх, что без названий дорога рассыплется. И тут я впервые понял, что малые Вии не только у тех, кто приходит за помощью. Они сидят и у того, кто пишет. Один держит глаз, другой руку, третий язык, четвёртый желание успеть, пятый страх ошибиться перед мёртвыми хранителями. Если их не видеть, книга станет не дорогой, а клеткой.

Ночью мне снилось много.

Сначала стол с предметами. Они лежали кругом, но круг медленно вращался. Ключ становился гвоздём, гвоздь зеркалом, зеркало водой, вода золой, зола пчелиным сотом, сот красной нитью, нить дорогой. Колокольчик без языка плыл по воздуху, и я слышал его беззвучный звон где-то в груди. Потом всё исчезло.

Потом я увидел бабку Калю.

Она стояла на лугу. Не старая и не молодая. Такая, какой я её помнил и не помнил одновременно: сухая, строгая, в платке, с глазами, которые не уговаривают, а ставят человека на место. В руках у неё был берёзовый лист. На траве лежала роса, крупная, как бисер, и каждая капля держала в себе маленькое перевёрнутое небо. Над лугом висел белый туман. Из тумана слышался детский плач, тонкий, сонный, обиженный на утро.

Бабка Каля посмотрела на меня.

— *Малых увидел?*

— *Увидел.*

— *Всех?*

— *Нет.*

— *И не надо всех сразу.*

— *Куда идти?*

Она подняла лист.

— *Где ребёнок боится утра, там роса ждёт.*

— *А кто травница?*

— *Та, у которой утро не режет глаза.*

— *Как её найти?*

Она улыбнулась одними глазами.

— *Не глазами одними.*

Я хотел спросить ещё, но туман поднялся выше, закрыл ей ноги, потом руки, потом лицо, и только лист ещё некоторое время светился в белизне, пока не стал похож на ладонь.

Проснулся я до рассвета.

Первое, что увидел после сна, был подоконник. Берёзовый лист лежал там же, где я оставил его вечером, но на его центральной прожилке дрожала новая капля. Не такая, как прежде: меньше, яснее, прозрачнее. Она держалась на сухом листе, хотя окно было закрыто, и вода из стакана никак не могла коснуться бумаги. Капля не скатывалась. Она будто ждала, когда я признаю её не случайностью.

За окном стояло серое предутро. Дом напротив ещё спал, но в одном окне уже двигалась тень. Я услышал детский плач.

Сначала показалось, что он остался из сна. Потом понял: нет, плач шёл с улицы. Я подошёл к окну. На дорожке перед соседним домом молодая женщина вела за руку маленькую девочку. Ту самую, которую я видел после ритуала Ани. Девочка щурилась, отворачивалась от рассвета, прятала лицо в материнское пальто и плакала не громко, но упрямо, как плачут дети, которым больно не от удара, а от самого выхода в день. Мать присела перед ней, что-то говорила, поправляла шапку, пыталась повернуть к свету, но девочка мотала головой сильнее.

А через дорогу, у старой липы, стояла пожилая женщина с корзиной трав.

Она не подходила. Просто смотрела. Невысокая, крепкая, в тёмной юбке и светлом платке, с корзиной на сгибе руки. Вокруг неё серое утро казалось мягче. Не ярче, нет. Именно мягче, будто свет, проходя мимо неё, переставал резать и начинал ложиться на землю как роса.

Потом она подняла голову и посмотрела прямо на моё окно.

Я понял: это она.

Та, у которой дети не плачут на рассвете.

Или та, к которой надо идти, чтобы они перестали плакать.

Берёзовый лист на подоконнике лежал тихо. Капля на нём не скатывалась. Я взял ржавый ключ, тёмный камень и блокнот. Потом остановился и добавил в карман маленький колокольчик без языка, который Егор Лукич почему-то оставил на краю стола. Может быть, забыл. Может быть, оставил намеренно. На лунной дороге забытые вещи редко бывают забытыми.

Когда я вышел из комнаты, утро уже поднималось по стенам домов. Оно было серым, влажным и осторожным. Не победным. Не золотым. Но после малых Виев я уже знал: серый — тоже свет. А иногда именно с него начинается дорога, потому что яркий свет слишком быстро требует от человека готовности, которой у него ещё нет.

На лестнице пахло сырой штукатуркой, железными перилами и чужим завтраком. Во дворе воздух был прохладный, с тонким зелёным запахом травы. Девочка всё ещё плакала, но теперь между её всхлипами появились паузы. Женщина у липы смотрела на меня спокойно, без удивления, будто знала, что я выйду именно сейчас.

Я перешёл двор.

В кармане лежал берёзовый лист с новой каплей. В ладони тяжелел тёмный камень. За спиной оставалась карта малых Виев, не законченная и не закрытая. Впереди стояла женщина с корзиной трав и утро, которое ещё не стало светом до конца.

Врата росы открылись окончательно.

Часть III. Врата ясного взгляда

Сначала страх живёт в теле.

Потом он начинает говорить с душой.

В этой части начинаются первые Врата.

Они ещё близки к земле, к быту, к телу. Здесь пахнет росой, родниковой водой, баннным паром, кузнечным железом, старым зеркалом, мокрым полем и конским волосом. Здесь страхи ещё можно потрогать руками: холод воды, жар огня, тяжесть век, дрожь перед зеркалом, растерянность перед далью.

Автор идёт не по абстрактной духовной дороге. Он идёт по живым местам. Через луг до рассвета. Через лесной родник. Через чёрную баню. Через кузницу. Через избу с закрытым зеркалом. Через холм, где даль впервые становится не пустотой, а пространством пути.

В каждой главе появляется человек с конкретной болью. Девочка, боящаяся нового дня. Женщина, растворённая в горе. Мужчина с тяжёлыми веками. Парень, жмуриящийся от силы огня. Вдова, не способная смотреть на своё лицо. Юноша, который не видит будущего.

И каждый раз автор не наблюдатель.

Он держит лист, ковш, дверь, клещи, зеркало, строку. Он становится помощником. Он входит в ритуал не как писатель, а как тот, кому доверяют край действия. Через это он сам проходит первые Калиновы мосты.

Эти Врата учат простому: ясный взгляд начинается не с великого откровения, а с способности выдержать утро, воду, жар, лицо, даль.

Свет ещё не назван Светозаром.

Но он уже учит смотреть.

Глава 7. Врата росы

Женщина с корзиной трав стояла у старой липы так неподвижно, будто была не человеком, а частью самого предрассветного воздуха. Её не освещал фонарь, не выделял солнечный луч, не подчеркивала случайная городская суeta; она просто стояла в той серой щели между ночью и днём, где вещи ещё не получили окончательных названий. В этом раннем часу дом напротив был не домом, а тёмной глыбой сна, окна — не окнами, а закрытыми веками, и даже асфальт во дворе казался не дорогой, а влажной кожей земли, которую город только на время прикрыл плитами, бордюрами и железными решётками.

Я стоял у окна босой, в не застёгнутой рубашке, и чувствовал холод пола через ступни. В комнате ещё держался ночной воздух: немного спёртый, с запахом бумаги, воска от огарка Домны, сухого липового цвета и сыроватого камня Егора Лукича, который с вечера лежал на столе рядом с ржавым ключом бабки Кали. На подоконнике стоял берестяной коробочек Аграфены ещё не переданный, а только ожидаемый, хотя тогда я этого, конечно, не знал. Пока там лежал только старый берёзовый лист, сухой, почти прозрачный, но с новой каплей на прожилке. Эта капля появилась ночью, без дождя, без открытого окна, без всякого разумного объяснения, и держалась так спокойно, будто знала своё право быть.

Предрассветное небо ещё не стало светлым. Оно только начинало сереть по краям, как старая ткань, которую вынесли из сундука и развернули после долгих лет. В этой серости дворы молчали особенно глубоко. Собаки, обычно готовые ругаться на каждый шорох, не лаяли; машины проезжали редко, осторожно, словно их водители сами не знали, едут ли они по обычной улице или по тонкой границе, где ночь ещё держит мир за плечо, а день уже дышит ему в лицо. Воздух был влажный, и эта влажность ложилась на стекло, на железные перила, на листья сирени у подъезда, на молодую траву у старой липы. Роса лежала не сплошь, а пятнами, будто утро ещё пробовало землю кончиками пальцев.

Внизу, возле дома напротив, молодая женщина держала за руку девочку лет семи. Девочка плакала. Не громко, не капризно, не тем резким детским плачем, от которого взрослые сразу раздражаются и начинают торопливо обещать конфету, мультик или наказание. Это был другой плач: зажатый, сердитый от бессилия, почти стыдливый. Девочка шурилась, закрывала лицо ладонью и всё пыталась спрятаться в материнское пальто. Она не пряталась от холода, не от чужих людей, не от улицы. Она пряталась от самого начала дня, от серого света, который ещё даже не стал ярким, но уже требовал от неё выйти из ночи, из постели, из сна, из тихого внутреннего укрытия.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.